

Мария Шенбрунн-Амор
Бринс Арнат



Мария Шенбрунн-Амор

**Бринс Арнат. Он прибыл
ужаснуть весь Восток
и прославиться на весь Запад**

«Издательские решения»

Шенбрунн-Амор М.

Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток
и прославиться на весь Запад / М. Шенбрунн-Амор —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831251-9

«Книга увлекательная, яркая, красивая, щедрая в своей живописности... Мария Шенбрунн-Амор отважно и ясно пишет свою историю XII века, соединяя, как и положено историческому романисту, великие события далекой эпохи и частную жизнь людей, наполняющих эту эпоху своей страстью и отвагой, коварством и благородством». Денис Драгунский В эпоху исключительных личностей, непреложных верований и всепоглощающих страстей любовь женщины и ненависть мужчины определяют исход борьбы за Палестину.

ISBN 978-5-44-831251-9

© Шенбрунн-Амор М.
© Издательские решения

Содержание

Часть I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Бринс Арнат
Он прибыл ужаснуть весь Восток
и прославиться на весь Запад
Мария Шенбрунн-Амор

© Мария Шенбрунн-Амор, 2016

Редактор ФиЛиГрань

ISBN 978-5-4483-1251-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I

Рейнальд неистовый

*...и вот, конь бледный, и на нем всадник
которому имя «смерть»; и ад следовал за ним.*

Откровение Иоанна Богослова

Летом 1149 года от воплощения Господня погиб лучший рыцарь Латинского Востока, и судьба христианской Сирии, а с ней и всего франкского Леванта, рухнула на плечи раздавленной горем Констанции.¹

Бой при Инабе населил небеса мучениками, а сирийскую равнину – трупами, и обезглавленное, тронутое тлением тело князя Антиохийского опознали меж остальными павшими лишь по старым ранам – бугристому шраму на руке от схватки с медведем, плечевой вмятине от сарацинской стрелы и длинному красному рубцу на бедре от падения с лошади. С места битвы героя несли на плечах босые монахи монастыря святого Симеона. Впереди брел сокрушенный патриарх Антиохии, за ним с рыданиями и песнопениями следовал клир собора Святого Петра, траурный кортеж сопровождали все нищие города с горящими свечами в руках.

В кафедральном соборе пришлось выставить оконные рамы, не то задохнулись бы паства и пятьдесят служащих тризну священников. На похороны ушел годовой доход княжества, на годы вперед за упокой души раба Божьего Раймонда де Пуатье были заказаны ежедневные мессы, и все подданные княжества молились о душе погибшего и о ниспослании посильного утешения его юной вдове так усердно и долго, что в домах их стыл ужин.

Но все это было бессильно вернуть Раймонда, а значит, не спасало и Констанцию. Боль огнем подступала к горлу, убивала, душила, утягивала на дно, где ни света, ни воздуха, ни надежды.

– Мамушка, нет его, нет, ушел, не помирившись, не бросив на прощанье ни единого ласкового слова, и этого уже ничем не поправишь! Погибаю я без него, погибаю, татик-джан.

Обрубленная шея в запекшейся крови маячила перед глазами, трупный смрад застрял в ноздрях, а она все ждала, что Пуатье вот-вот войдет – живой, ростом под притолоку, сильный, прежний! Со двора явственно слышались раскаты знакомого уверенного голоса, в похоронной процессии то и дело мелькали родные выцветшие пряди. И тут же накатывало ледяным, отрезвляющим ужасом – как же войдет, если его голова теперь услаждает взор багдадского халифа?!

Мамушка Грануш не выходила из опочивальни своей лапушки, целовала руки, гладила пряди цвета потускневшей позолоты, вдовье ложе сплошь увесила ладанками и обращениями к святым угодникам. Кроткая и бестолковая дама Изабель де Бретолио тоже безотрывно сидела у изголовья, рыдала взахлеб, шептала напрасные утешения. Приводили потрясенного, перепуганного пятилетнего Бо и капризничавшую, ничего не понимающую Марию, приносили крохотную Филиппу, пахнущую сладким молоком и детской отрыжкой. При виде осиротевших чад Констанция начинала задыхаться:

– Детям-то это за что? Они-то чем виноваты? Как дальше жить? Ради них надо, а как?

¹ Во всем тексте романа устами автора говорят его герои, и высказываемое ими уничижительное отношение друг к другу является лишь отражением свойственных средневековым людям представлений и предрассудков, не имеющих ничего общего с мировоззрением автора, уважающего все верования и народности.

На пятые сутки Грануш сдалась, призвала Ибрагима ибн Хафеза, и теперь оба наперегонки, ревниво перепроверяя друг друга, суетились над Констанцией:

– Что там? Что ты даешь моей голубке? – шипела мамушка, бдительно принохиваясь к египетскому зелью, крестя его и для надежности заговаривая армянским наговором, предназначенным перебить любую басурманскую напасть.

– Глупая, невежественная женщина, что толку тебе объяснять! – пыхтел александрийский медик, возмущенно взметая бороду и отпихивая суеверную няньку от бокала с вонючей целебной настойкой, изготовленной из болиголова, опиума и смятых копытами единорога трав, собранных в святую ночь Ид аль-Адха. – Меланхолию способно излечить лишь избавление от холодной и сухой стихии!

Изабо отводила нахальные сливовые глаза, вздыхала пышной грудью:

– Меланхолию юных вдов лучше всего новые женихи лечат. Ничего, ее светлость упорней свежей ветви, скоро вновь зацветет.

Грануш, постаревшая за последние дни на годы, всплескивала руками:

– Что ты несешь? Какие еще новые женихи, бесстыжая?! По себе, вертихвостка, судишь! Слава Богу, всё, замужем побывала, отмучилась моя птичка. Сын имеется, дальше можно жить спокойно. А ты Псалтырь бы почитала, за чистой водой и свежими полотенцами сходила бы. Слезы лить-то все рады, а порадеть о бедной деточке некому, кроме немощной няньки! – Немощная нянька выпихнула Изабо из опочивальни.: – Иди, иди, стрекоза безмозглая. Да заодно свечей захвати, две дюжины. И свежие цветы непременно, только чтоб без запаха. И вина уж не забудь, полдня допроситься не могу.

Если всего оказывалось в избытке, посылала безотказную Изабо за служанками или детьми.

Отец Мартин тоже не сдавался: как мог, боролся с нечестивыми заботами армянки и басурманского колдуна непрестанно и громозвучно возносимыми *Pater Noster* и *Anima Christi*. От эликсиров Ибрагима бурное отчаяние Констанции выдыхалось в мрачную тоску:

– Мамушка, все моя вина. Из-за Алиенор проклятой я послала его на погибель, хотя весь Утремер не стоил капли его крови!

Потребовала власяницу. Изабо всплеснула руками, разревелась от сочувствия:

– Ваша светлость, да вы-то чем виноваты?! Да если бы наши пожелания имели хоть каплю силы, разве мой постылый Эвро вернулся бы живым и невредимым? – Всхлипывала, и украдкой косилась на забитый княжескими нарядами сундук.: – Ваша светлость, а с прежними-то вашими убранствами что будем делать?

До расшитых ли блио и бархатных сюрко в преддверии геенны огненной?

– Нищим всё, – простонала Констанция после крохотного колебания.

– Еще чего, нищим! Им-то к чему муслин и парча? – вскидывалась, вскипала молоком на огне рачительная Грануш. – Господи, пташечка моя, ну куда тебе власяницу? Посмотри, и так кожа да кости остались, дай старой татик унести твою боль, листочек мой с ветки оторванный, ягненок мой от отары отбившийся...

Но княгиня упрямо натянула на голую кожу мерзкую, воняющую козлиной шерстью дерюгу. Сочувственно ахая и вздыхая, Изабо переместилась поближе к заветному сундуку. Констанция отвернулась, чтобы не видеть алчных рук подруги, ковыряющихся в груди драгоценных тканей и выуживающих из сердцевины хранилища белопенные одеяния. Пусть, неважно! Только бы телесные муки заглушили невыносимую боль в душе, а пошить новые наряды всегда успеется.

Власяницу все же пришлось снять. Не потому, конечно, что Грануш пришла в ужас от ссадин и расчесов на нежной шее своей лапушки, а потому что грубая мешковина от сердечной боли не спасала. Констанция малодушно покорилась, позволила переодеть себя

в шелк и больше не перечила мамушке, огнедышащим драконом усевшейся на крышку окованного сундука.

Вретище не избавило от душевной пытки, а сворачивающее в ком муки горе не оберегло от новых земных бед: жарким июльским утром под оставшимися без защитников стенами Антиохии появилась сельджукская армия. Виновник гибели князя, атабек Алеппо Нуреддин Занги потребовал сдачи города.

В сей крайности патриарх Антиохии Эмери Лиможский, взваливший на себя тяготы правления, решился нарушить траурное затворничество вдовы. Первым путь его высокопреосвященства к тронной зале преградил отец Мартин. Бросился под ноги, разметал рукава сутаны, принялся заклинять иерарха отогнать от страждущей рабы Божией Констанции вредоносную камарилью еретиков, безмозглых придворных куриц и нечестивых басурман. За спиной капеллана немедленно замаячил египетский знахарь Ибрагим ибн Хафез и столь же настойчиво воззвал к мудрости и учености латинского имама, умоляя запретить невежественным в медицине христианскому мулле и няньке вмешиваться в исцеление пациентки, совершаемое им в точном соответствии с рекомендациями Гиппократов. Следом подошла Грануш, сердитая, как защищающая гнездо белка, и решительно заявила, что у самих небес нет власти отстранить ее от несчастной детки в такой час. Последней на пути прелата возникла зареванная Изабо.

– Мадам де Бретолио, можно подумать, это вы овдовели, – попенял плакальщице растерявшийся патриарх.

– О ваше высокопреосвященство, разве горевала бы я так из-за своего никчемного Эвро? Это горе моей госпожи разрывает мне сердце!

Прижала руки к груди, словно пытаясь удержать это чувствительное и непокорное сердце в вырезе тесного одеяния, позаимствованного в сундуке ее светлости. Патриарх лишь замахал руками, отгоняя неумеренных доброхотов. Благословил поникшую перед ним безжизненную княгиню, рухнул в приготовленное кресло:

– Ваша светлость, мне горько огорчать вас новой страшной вестью, но положение Антиохии безнадежно. Однако нечестивый язычник поклялся пощадить наши жизни и обеспечить всем латинянам свободный проход в Иерусалимское королевство со всем имуществом, если мы добровольно сдадим город. В Иерусалиме вы обретете необходимый вам покой.

У Констанции затряслись губы, руки слепо зашарили по коленям:

– Нуреддин убил моего супруга и теперь ожидает, чтобы я отдала ему свое княжество, свой дом? Да я лучше сама выйду на бастионы!

Грануш не выдержала, забубнила:

– Вот нет у некоторых сердца, не видят, что несчастная голубка и так от горя из ума выжила! Любимую миндальную пахлаву в мед и то есть отказывается! А они уже тут как тут со своим Нуредином поганым, город ему сдай... Сами теперь все решайте...

Захлопотала вокруг пупуш, с укором поглядывая на патриарха, доведшего бедняжку до потери последнего рассудка. Эмери посохом стукнул, глазами строго поморгал, продолжил назидательно, словно скорбному разумом пояснял, что мир в шесть дней создан:

– Дочь моя, кроме вас больше и некому. Защитников не осталось даже вражьи лестницы с куртин спихнуть, а жители пали духом.

Констанция сжала виски. Представила себя бредущей по бесконечной пыльной дороге с вопящей Филиппой на руках, а Бо и Мария с жалобами тянутся следом, хватаясь за материнский подол. Нет, конечно, нашлись бы для них и лошади, и паланкины, но горечь и позор изгнания будут жечь ничуть не меньше. Но что же делать? Мысли метались испуганными воробьями, впервые она не ковыряла душу ржавым гвоздем воспоминаний о Пуатье:

– Ваше высокопреосвященство, Иерусалим знает о гибели нашей армии, наверняка король уже спешит нам на помощь.

Патриарх покачал головой:

– Увы, у нас об этом нет никаких известий, ни сигналов с соседних крепостей, ни гонцов. Вспомните, дочь моя, Иерусалим Эдессе ничем не помог. Если мы сейчас отвергнем милостивые условия тюрка, а помощь так и не явится, нас ждет судьба тамошних мучеников.

Антиохия была зеницей ока всего христианского мира и единственным достоянием Констанции. Без княжества ее с детьми ожидало жалкое прозябание. Вспомнилось семейство Куртене, потерявшее графство Эдесское.

– Святой отец, надо напомнить проклятой собаке, что ромейский император – наш сюзерен. Он не простит нападения на Антиохию.

Последние победы Мануила заставили даже неверных с ним считаться. Патриарх кисло сморщился при упоминании греческого схизматика:

– Василевс занят собственными войнами, нам ничем не поможет.

Наконец-то Констанция догадалась плотно прижать руки к коленям, чтобы скрыть их предательское дрожание:

– Антиохия неприступна, и если Нуреддин не хочет сидеть под нашими стенами месяцами, ему придется дать нам отсрочку. Это наша единственная надежда.

А вдруг подмога так и не придет? Неужто Констанция превратится в неимущую приживалку? И Алиенор Аквитанская будет торжествовать? Кровь хлынула в глаза, в ушах застучало, такая ярость накатила, что даже неподъемный груз горя исчез. Да она скорее будет подошвы сандалий есть, собственными руками на врагов деготь лить, под сельджукской саблей охотней погибнет, чем уступит ненавистному Зангиду свои владения. Нет. Хватит того, что Алиенор и проклятый тюрок лишили ее супруга. Пока Констанция жива, никто больше не отберет у нее ничего: ни Антиохии, ни власти, ни тех, кого она любит! Овладела собой, выпрямилась, решительно заявила:

– Ваше высокопреосвященство, это мой город, я тут суверенная княгиня, мне решать, и я не распахну ворота Антиохии перед убийцей князя. Мы с сыном не покинем города. Выпросите хотя бы десять дней. Сулите, что хотите. И будь что будет. Исполним долг наш – постоим за колыбель христианства.

Пастырь пожевал губами, недовольно вздохнул, но возражать не решился. Протянул княгине руку для целования, сверкнули алмазы его перстней. Дама Филомена, до сих пор недвижно сидевшая у окна, цаплей вскинула остроносую голову на тонкой шее:

– Эдесса еще и потому погибла, что патриарх Хьюго отказался уплатить солдатам из епископальной сокровищницы. За отсрочку Нуредину заплатить придется.

Ее Рено, сеньор Маргата, погиб под Инабом вместе с Раймондом, но глаза старой дамы оставались сухими. Для нее неверный умер в тот день, когда завел любовницу. Особой причины убиваться о нем именно сейчас, когда изменщик наконец-то получает на том свете по заслугам, дама Филомена не находила. Только руки ее с тех пор оставались праздными, впервые не занятые вечным рукоделием, словно эта Пенелопа потеряла надежду на возвращение своего непутевого Одиссея.

Эмери Лиможский растерялся, выудил из складок облачения муслиновый плат, промокнул вспотевшее чело, зычно высморкался, но Констанция уставилась на прелата так, словно он ей в последнем причастии отказывал. Скуповатый патриарх не выдержал, простонал:

– Не дай мне Бог оказаться виновным в потере города, где проповедовали апостолы, из которого воссиял свет истины мучеников и святых! Дочь моя, ничего не пожалею, дабы убедить алчного нехристя. – Оглядел с тоской капли рубинов, твердь сапфировых гра-

ней на костлявых пальцах, присовокупил сокрушенно: – Правильно заметил Квинтилиан: деньги, проклятые деньги – причина всех войн!

Его высокопреосвященству удалось договориться, что Антиохия будет сдана на предложенных Нуреддином условиях лишь через десять дней и только в том случае, если за это время не подоспеет подмога, но цена уступки оказалась выше горы Сильпиус: в обмен на нее с патриаршей казны сбили гигантские ржавые замки и всю ночь из соборных подвалов вытаскивали и тачками свозили к городской стене мешки, туго набитые золотыми светильниками, окладами, драгоценными камнями, хрустальными кубками, потирами, крестами, кадилами, парчовыми, расшитыми жемчугом облачениями, драхмами, динарами и иерусалимскими серебряными денье с выбитыми на них башнями Давида. Церковная десятина земледельцев и горожан, дары благочестивых людей Всевышнему, подношения исцеленных, – все годами хранившиеся в сундуках патриархата сокровища были спущены на крепких веревках с бастионов прямо в нетерпеливые лапы врагов Господа.

Выжидая оговоренный срок, атабек разграбил земли монастыря святого Симеона и орлом на куропатку напал на Апамею. А дорога из Иерусалима продолжала оставаться безлюдной, и Констанция сходила с ума от страха и надежды. Грануш ворчала, что княгиня бродит по замку бездомной собакой. Того и гляди, она и впрямь окажется бездомной. Оказывается, даже если теряешь самое дорогое, страшно и больно потерять остальное. В последний десятый день сигнальный огонь с донжона соседней крепости подал, наконец-то, долгожданный знак, что армия Бодуэна III в пути. Нуреддин отвел войска.

В очередной раз Господь доказал, что может с такой же легкостью освободить своих сынов от врагов, с какой останавливает солнце или насылает бурю. А Констанция вновь могла предаваться горю без помех.

Там, где было горе, там непременно появлялась Доротея де Камбер. Эта женщина была рождена для монашества и непременно достигла бы святости, если бы ее не выдали замуж еще до того, как она успела превратиться в сущую колючку из господнего тернового венца. Благочестивая дама прошмыгнула в опочивальню княгини с сообщением, что его величество Бодуэн III завтра с утра отстоит поминальную мессу и помолится на гробнице князя.

Констанция отвернулась к стене. Но мадам де Камбер не собиралась покинуть несчастную без надлежащего утешения: с удовольствием завела душеспасительную беседу о неизбежности скорой кончины, Страшном суде и адских муках, не жалея ради страдальцы-вдовы ни красок, ни подробностей. Только возвращение мамушки заставило утешительницу прервать сладостное повествование о бренности всего сущего и пользительности страданий. Грануш брезгливо посмотрела вслед святоше:

– Не женщина, а Псалтырь ходячий! Да лежи спокойно, пупуш мой бедненький, старая татик унесет твою боль! Достаточно моя деточка намучалась. Никому не позволю тебя тревожить. – Плотно прикрыла дубовые ставни, окропила комнату навевающим дрему раствором лаванды и бергамота. – Моя крошка больше никому ничего не обязана. Пусть сами во всем разбираются, пусть кого угодно назначают регентом, а нам и в Латакии будет хорошо. – Добавила мечтательно: – Будем девочек наших потихоньку растить, грехи отмаливать. И Изабо, хоть и дурная коза, а свою госпожу не покинет... а там вырастет наш Бо, займет свой престол. – В голосе мамушки крепла радость.

При упоминании Латакии Констанция отбросила одеяло. О чем это старая татик? Неужто после всех усилий и жертв княгиня останется заживо погребенной в каком-нибудь воняющем бергамотом склепе с няньками и приживалками, а король отдаст ее Антиохию регенту?! С содроганием вспомнила судьбу матери, скончавшейся в латакийском изгнании.

– Не мы первые, не мы последние, – ликовала мамушка, задувая лишние свечи.

– Нет уж, – ожившая Констанция вскочила, птицей заметалась по опочивальне. – Я не Алиса. Меня никто в Латакии не схоронит!

Латинский Восток полон несчастных вдов – постаревших, убогих, жалких, никому больше не надобных, неизбывных и тревожащих, как нечистая совесть. Их скорбные фигуры в заношенных отрепьях затевают церковные приделы, бедняжки побираются на папертях, торгуют в базарных рядах, вымаливают у сеньоров крошечный надел земли или ничтожный пенсион, за любую работу берутся, на поля наряду с феллахами выходят, идут под венец с многодетными, больными и старыми вдовцами, а если найдется монастырь, готовый принять монахиню без вклада, – с радостью принимают постриг. Но Констанцию – наследницу благородного Тарентского рода, внучку, дочь и вдову героев! – такая судьба не постигнет. Она дикой кошкой будет защищать свое достояние. Законная княгиня Антиохии не намеревается растолстеть, поседеть, отрастить бородавки и вонять камфарой. То единственное, что у нее осталось, – княжество, она не уступит ни Нуреддину, ни Бодуэну III.

Изабо тоже всполошилась:

– Ваша светлость, зачем нам в Латакию?! Да через год вы сможете выбирать себе супруга среди всех баронов королевства!

Завистливо, но осторожно вздохнула, потому что позаимствованное из заветного сундука платье – муаровое, расшитое бледно-желтыми розами – трещало по швам на ее груди, столь щедро благословенной святой Агатой, что лиф уже два раза пришлось штопать под мышками.

У дамы Филомены, как всегда, горькие предупреждения имелись в избытке:

– Это в Антиохии княгине от женихов отбоя не будет. А в Латакию до изгнанницы не всякий доедет.

Мадам Мазуар легко рассуждать, ее душа окоченела еще годы назад, с гибелью сыновей. К тому же самой старухе новый брак не грозит. Княжеству и в самом деле потребен защитник, а королю – дееспособный вассал, и новый супруг защитил бы права Констанции, но от мысли о другом мужчине тошнило. По обычаю вдове полагался год траура, и пока он не истечет, никто не мог заставить ее идти под венец, но если король и бароны заподозрят, что княгиня Антиохии не в состоянии защищать княжество, они не то что год, они и неделю не станут выжидать. Если Констанция, как полагается, продолжит оплакивать кончину супруга шесть недель в траурном затворничестве, ей грозит до конца дней оплакивать собственную планиду.

– Грануш, воду для умывания, парадное траурное одеяние и княжескую корону!

Никогда больше княгиня Антиохии не будет заливаться жалкими, беспомощными слезами в сырой от горя постели, позволяя другим решать собственную судьбу.

Со времен их давней встречи в Акре Бодуэн III из пухлого отрока превратился в высокого, плотного мужа. Кучерявая каштановая борода оторачивала широкое лицо, а орлиный нос и светлые, чуть навывкате глаза придавали королю сходство с филином. Однако влюбчивую Изабо де Бретолио молодой венценосец пленил еще до того, как выговорили его титул.

Король пожелал взглянуть на фортификации Антиохии. Дородный Бодуэн легко поднимался на смотровые площадки, опережая тучного коннетабля княжества Готье Аршамбо, следом карабкалась свита, за знатными баронами взлетали на верхотуру и с полдюжины простых шевалье, среди которых Констанция узнала Рейнальда Шатильонского. Значит, красивый крестоносец выжил под Дамаском и во Францию не вернулся, остался служить в Иерусалиме.

Рыцари с мальчишеским любопытством заглядывали в каждую бойницу, наперебой обсуждали эффективность защиты укреплений с различных позиций.

– Мы используем жгут из конского волоса, – хвастался антиохийский коннетабль новой метательной машиной. – Сарацинская придумка, а теперь против них же и направлена. Ни в одной крепости таких нет!

– В Иерусалиме мы такую барабаллисту с противовесом построили, из нее в гвоздь попасть можно!

Бодуэн с азартом чертил на сухой земле строение необыкновенной метательной машины, пробовал на прочность лестницы, исследовал конструкцию системы блоков, созданную по описаниям древнеримского инженера Витрувия, промерял глубину рвов, вертел лебедки, шкивы и подъемные колеса, увлеченно обсуждал со строителями тонкости подъемов фортификаций.

Констанция в черном вдовьем одеянии молча тащилась вслед за баронами по раскаленным нещадным июльским солнцем куртинам, с терпением великомученицы наблюдала, как рычаг толленона возносил воинов в огромной корзине на вершину стены, с кротостью святой выслушивала нескончаемые диспуты мужчин о способах засыпки рвов и ударной силе камнеметов. Ее поддерживал только каркас долга и гордости, крепкий, как доспех на немощном старике, как пыточная клетка на сломленном узнике, как лиф на щуплой даме Филомене.

Посреди крутой, узкой лестницы Изабо оказалась перед королем и изящно оступилась. Но не успел галантный Бодуэн подхватить слабую прелестницу, как она очутилась в объятиях какого-то седоусого, бритого налысо рыцаря, обрадованно загудевшего:

– Мадам, осторожнее, обопритесь на мою руку! Никогда Бартоломео не допустит, чтобы хорошенькая женщина упала в его присутствии! Разве что она ожидает, чтобы Бартоломео сверху упал! – рыцарь треснул себя по ляжке и закатился оглушительным хохотом.

Изабо с досадой обошла незваного спасителя:

– Благодарю вас, мессир, позвольте мне пройти!

Прельстительницу совершенно не интересовал неведомый солдафон. С упорством гончей, идущей по свежему следу, мадам де Бретолио охотилась за королем, и благодаря восторгам и улыбкам зазывающей, как пуховая перина, красавицы знатный гость пребывал в отменном расположении духа. Недаром злые языки утверждали, что молодой монарх любит женщин куда больше, нежели чтит их супружеские обеты. Впрочем, пока существовали блудницы, подобные Алиенор Аквитанской, было бы несправедливо возлагать всю вину за прелюбодеяние на одних мужчин.

Однако этот неведомо откуда взявшийся Бартоломео не собирался уступать мадам де Бретолио даже самодержцу. Блестящий медный котел головы и мощный складчатый затылок нового ухажера упорно маячили между Изабо и Бодуэном, и грубиян не переставал оглушительно хохотать над собственными шутками:

– Мне нравятся женщины, которым случается, ха-ха, так сказать, оступиться! Ха-ха-ха!

– Ваша милость, вы загораживаете мне дорогу, – Изабо, дрожа от ярости, миновала нахала, подлетела к Аршамбо и прошипела: – Что это за болван, коннетабль?

– Бартоломео д’Огиль? Надо признать, мадам, он действительно слегка шероховат в обращении с прекрасным полом, но, помимо этого, один из лучших моих людей! – добродушно ответил Готье.

– Слегка шероховат?! – взвилась Изабо. – Самый самовлюбленный, неотесанный и напыщенный дурень из всех, когда-либо пытавшихся покорить женщин своими глупыми, плоскими остротами! А я, коннетабль, перевидала их поболее, чем вы – сельджуков, уж поверьте мне!

Аршамбо, как, впрочем, и весь остальной гарнизон, не сомневался в обширном опыте мадам де Бретолио в любовных схватках. Однако простак д’Огиль то ли не замечал раздражения нимфы, то ли не обращал внимания на подобные мелочи и продолжал упорно топтаться подле обольстительницы:

– Бартоломео всегда готов оказаться рядом с нестойкой красавицей! Ха-ха-ха!

Король пожал плечами и прошел мимо. Изабо отпихнула настырного кавалера, подобрала юбки и, перепрыгивая через две ступеньки, припустилась за удаляющимся монархом, восторженно выкрикивая вдогонку:

– Ах, ваше величество, вы новый Александр Магнус!

Солнце палило, хотелось пить, вернуться в опочивальню, никого не видеть и не слышать, но Констанция безропотно брела за воинами, кивала с понимающим видом, а для пущей убедительности уверенным жестом еще и подергала какой-то канат. Внезапно вся конструкция накренилась, и огромное бревно, плохо закрепленное наверху сооружения, неотвратимо поползло вниз. Княгиня ахнула, отпрыгнула, а тяжелый столб непременно убил бы оказавшегося под ним короля, если бы шевалье де Шатильон не успел оттолкнуть Бодуэна. Бревно гулко шлепнулось прямо на то место, где еще миг назад стоял оплот Заморья. Констанция покрылась испариной. Следовало отдать должное венценосцу, он не потерял присутствия духа, даже неизменной своей вежливости не утратил:

– Мессир де Шатильон, вы, поистине, спаситель Иерусалимского королевства. – Галантно утешил неуклюжую кузину: – Мадам, это мне справедливое возмездие за то, что я таскаю вас по фортификациям и утомляю скучными для дамы обсуждениями.

Пунцовая как вареный рак Констанция лепетала какие-то оправдания, мечтая от стыда провалиться сквозь землю. Спасая госпожу, мадам де Бретолио послала королю самую разящую улыбку из своего арсенала, Бодуэн встрепенулся, словно гончая при звуке рожка, и попытался лихо перемахнуть через каменную кладку, но не рассчитал прыжка и едва не рухнул с узкого парапета в бездну. Изабо взвизгнула, обрадованно заахала и так разволновалась, что сама уже боялась и шагу ступить. Королю пришлось предложить руку очаровательной, но робкой даме.

– Вы так весь Утремер обезглавите, – ухмыльнулся Рейнальд Шатильонский, проходя мимо Констанции.

У наглеца уже при первой их встрече, у ложа умирающего трувера два года назад, оказался беспощадный язык, а теперь, возгордившись, что спас сюзерена, он полностью забылся! Невыносимая тяжесть навалилась на Констанцию, иссякли силы ползать на палящем солнце по куртинам, спускаться в вяжущем, как тесто, влажном от пота платье по узким, крутым ступеням, а главное – внимать соображениям доблестных рыцарей касательно траектории, формы и веса камней, запущенных различными требюше. Княгиня незаметно отстала, спустилась к подножью стены, села в сырой тени на прохладный валун.

К горизонту уходил бескрайний караван верблюжьих горбов Ливанских и Антиливанских хребтов, внизу под стенами раскинулась плодородная долина, серебрились расплавленным металлом струи Оронтеса, к переправе вела дорога, наверное, еще хранившая следы копыт Вельянтифа. Констанция по ней на коленях проползла бы, если бы это могло вернуть Пуатье. В оливковой роще на дальнем берегу сирийские крестьянки в белых платках трясли деревья и собирали маслины в расстеленные на земле полотнища. Коварный и многоопасный Нуреддин намеренно не сжег посевы местных феллахов, не вырубил плодовые сады и даже деревни их не разграбил, лишь бы расположить к себе местное население. У далекой надвратной башни часовые чистили песком кольчуги, варили в котлах похлебку, звякал цепью караульный пес. Мир без Пуатье продолжал быть точно таким же, как две недели назад.

Теплый, благоуханный ветер нес горьковатый аромат полыни, сырую прель замшелых камней, сухость пыли, пересыпал серебро тополиной листвы, колыхал верхушки кипарисов, шелестел высокой травой. Под обрывом отчаянно щебетали и мельтешили стрижи, трещали в бурьяне сверчки, над цветущей акацией надоедливо витал шмель – грузный, гулкий и неотвязный, как Бартоломео. Время от времени с шорохом и стуканьем скатывался в пропасть

камешек, мерно ухала горлица, свистел суслик. Высоко над долиной парил орел. На всем лежали блаженная истома и покой.

Внезапно ящерка метнулась в расселину, позади раздался неспешный хруст шагов, послышался ленивый, снисходительно-насмешливый голос:

– Ваша светлость, его величество поручил мне позаботиться о вашей безопасности.

Констанция даже головы не повернула, только постаралась незаметно смахнуть слезы. Этот Шатильон – наглый, как тать ночной. Выскочка он, ничего более.

– Мадам, – повторил Рено, не дождавшись ответа, – простите мне глупую шутку. Я иногда бываю недостаточно... почтительным.

Иногда?! Констанция не выдержала:

– Мессир, все это сущие пустяки. Мне не до этого.

Не выказывая особого раскаяния, шевалье раскачивался на длинных расставленных ногах, крепкими белыми зубами покусывал стебелек травинки:

– Хм... Я понимаю, ваша светлость. Мы скоро перестанем досаждать вам. Его величество через пару дней покинет Антиохию, и вряд ли еще когда нам придется столкнуться.

Сердце сжалось от внезапного, пронзительного, почти человеческого вопля пойманного хищником кролика.

Тени покрыли проемы меж стенами, и повеял спасительный предвечерний бриз, когда наконец закончилась проверка оружейных арсеналов, запасов сухарей, фасоли, солонины, бочек с вином и горючими смесями. Круглое лицо короля светилось удовольствием от беседы о блоках, костылях и противовесах различных камнеметов. Покидая фортификации, Бодуэн хлопнул по плечу старину Аршамбо, и коннетабль едва удержался от того, чтобы не хлопнуть в ответ милостью Божией Латинского короля.

Вечером кузен рассказывал княгине и ее дамам о прекрасном Иерусалиме. Сердце мира, Град Иисусов, золотой и розовый, каменный и воздушный, исполненный невыразимой красоты и святости, прорывал крестами, шпильями, колокольнями и башнями темень вокруг Констанции, уносил с собой в лазурную высь.

Король провозгласил себя регентом Антиохии, но на деле власть княгини ничем не ограничил. То ли, как уверяла Грануш, потому что убедился, что Констанция – на редкость решительная и здравомыслящая правительница, то ли, как болтала Изабо, потому что так или иначе намеревался вскорости выдать ее замуж по своему выбору.

В знак приязни и благодарности княгиня передала сюзерену всех сарацинских пленников, оставила только тех, кто был необходим на постройке добавочных фортификаций. Когда ей сказали, что Пуатье погиб, она потеряла разум и кричала, чтобы всех проклятых нехристей немедленно казнили, но Аршамбо отказался исполнять такое неразумное приказание, и сейчас Констанция была признательна коннетаблю: жестокие сельджуки наверняка чудовищно отомстили бы безвинным латинянам, томившимся в их лапах.

Король договорился с Нуредином об обмене захваченными воинами, а вдобавок обещал выкупить из египетской каторги трех антиохийских рыцарей, вынужденных возводить каирскую цитадель по принуждению фатимидского султана, жестокого, как ветхозаветный фараон.

Пленным сарацинам предстояло поспевать за армией до места обмена у пограничного Харима, а они после долгого заключения – кожа да кости, многие едва на ногах держались.

– Почему они так плохо выглядят? – возмутилась Констанция.

– Потому что с ними плохо обращались и не кормили, – пробурчал Ибрагим.

– Поверьте, уважаемый ибн Хафез, я вовсе не намеревалась морить заключенных голодом, на их содержание отпускались весьма приличные суммы, но не могла же я каждый день лично проверять тюремный котел?! Я строго накажу виновных!

Грешно и глупо терять человеческую жизнь, даже жизнь смертельного врага, когда можно обменять ее на жизнь рыцаря.

– Посмотрели бы вы, какими наши из алеппских застенков выходят... – мрачно заметил Рейнальд де Шатильон, ответственный за доставку пленных.

Ибрагим хватался за голову, терзал бороду, призывал в свидетели Мухаммеда и Галена и клялся, что беднягам на подготовку к переходу потребуется неделя.

– Недели у них нет, – отрезал безжалостный, как гвоздь распятия, Рейнальд. – Прекрасно дойдут, когда поймут, каков выбор.

Ибн Хафез хотел возразить, но взглянул на Шатильона, осекся и поспешил к пленникам, наперебой призывавшим «аль-таабиба». Два оставшихся дня ретивый знахарь почти не спал и не ел, полосатый его халат беспрерывно мелькал по двору между изможденными магометанами, но умудрился-таки всех узников поставить на ноги. Только некий Аззам не мог идти из-за опухшей ноги. Сгорбившийся звереныш сидел на земле, злобно сверкал черными глазами, из многочисленных дыр в лохмотьях торчало смуглое, тощее тельце. Одна из лодыжек худющих ног распухла, и несуразно огромная ступня висела на ней косой клешней. Трудно было поверить, что этот щуплый хлюпик не только участвовал в сражении, но даже умудрился зарубить беднягу Клода Байо! Впрочем, всем известно, что сарацины посылают в бой сущих детей.

Шатильон ткнул хлыстом в галчонка:

– Этот Аззам – сын Мадж ад-Дина, сводного брата Нуреддина, эмира Алеппо. Он самый ценный, без него вся сделка развалится. Не может идти, остальные его потащат.

– Светозарная княгиня, – Ибрагим бросился защищать своих подопечных, словно кулик птенцов от тростниковой кошки, – посмотрите на ужасное состояние несчастных! Если их заставят его нести, они сами не дойдут.

Узники в самом деле смахивали на откопавшихся мертвецов, однако княгиня только вчера особо упомянула этого заключенного в разговоре с королем.

– Пусть шевалье Шатильон решает. Он тут представляет короля, а эти люди уже принадлежат короне. Но не волнуйтесь, Ибрагим, напрасной их смерть в любом случае не окажется: передав их его величеству, я сдержу данное ему слово.

– На остальных мне наплевать, – отрезал Рейнальд. – Их много, кто-нибудь да дотянет мальчишку.

Шатильон был прав, остальные сельджуки никакой ценности не представляли, но ибн Хафез взмолился:

– Мертвый пленник бесполезен, и большой грех перед Создателем без причины растрачивать жизнь его созданий.

Констанция твердила себе, что это враги, что все они достойны смерти, каждый из них был захвачен в бою с оружием в руках, но ничего не могла с собой поделать: теперь, когда сарацины были униженными, бессильными, с потухшими глазами, торчащими позвонками и костлявыми конечностями, у нее не хватило решимости обречь их на смерть. Она сдалась:

– Ладно, для самых слабых выделяют мулов.

Пусть дойдут до Харима живыми, иначе какой с них толк?

Но на Ибрагима не угодишь:

– Если Аззаму срочно не оказать помощи, в ноге начнет скапливаться желчь, жар от нее распространится по всему телу, и несчастный умрет, – так упорствовал, словно речь шла о собственном сыне. – Мне он не позволяет до себя дотронуться, считает, что лучше смерть, чем забота шиита. Необходимо позвать к нему суннитского врачевателя.

Шатильон подал знак солдатам:

– Ребята, поддержите мальчишку, пока знахарь над ним поколдует.

Двум латникам пришлось навалиться на отчаянно вырывавшегося Аззама, чтобы ибн Хафез смог вправить кость и обвязать грязную лодыжку дощечками. Волчонок оказался злобным и упрямым, и с присущей неверным неблагодарностью умудрился плюнуть в своего шиитского спасителя. Но у Ибрагима никогда чести не имелось, он только небрежно утерся и снова бросился раздавать пленникам мази и настойки.

Скованная попарно гусеница узников уже звенела цепями, их босые ноги уже вздымали пыль на дороге, когда в углу двора обнаружился еще один немощный заключенный. Его трясло от жара и непрерывно рвало. Ибн Хафез заявил, что подобная хворь крайне заразна и часто смертельна.

– Этого я с собой не возьму, – заявил Шатильон, которому уже подводили коня.

– Я в своем замке его тоже не хочу, – испугалась Констанция. – Болезнь перепрыгнет на тюремщиков, с них на слуг, а там и на моих детей!

– Ну, тогда скинуть его в ров, – нашелся Рейнальд.

– Ваша светличность, – заголосил Ибрагим, – ради Аллаха, не надо скидывать! Это Тахир – один из хашишийя, ассасинов, вспомните, величаяя госпожа, что Али ибн Вафа тоже погиб при Инабе.

– Мессир де Шатильон пошутил, – отмахнулась Констанция. Отчаянному шевалье казнь бесполезного исмаэлита и в самом деле могла показаться забавной. – Но я, право, не знаю, как быть с больным и заразным ассасином.

– Милосердная госпожа, позвольте оставить его в углу двора, тут он никому не принесет никакого вреда. Зараза передается исключительно лучами из глаз больного, а у него, как вы видите, глаза уже смежены! До утра он сам по себе скончается, и вина за его смерть не ляжет на нас, – страстно ручался Ибрагим.

Шатильон пожал плечами, ему решительно некогда было заниматься подыхающими нехристями: до темноты следовало добраться до безопасных стен ближайшей крепости, пленники уже тянулись за обозом. Шевалье кивнул на прощанье княгине, вскочил на скакуна редкой мышинной масти, пустил его вскачь и скрылся из глаз, не обернувшись ни единой ногой.

Констанция смотрела вслед страшной шеренге хромых и качающихся доходяг. Они казались выходцами с того света, но шли, потому что каждый шаг приближал их к свободе. Кто уже и шага не мог сделать, тех везли на телегах. Христос мог удостовериться, что княгиня воистину возлюбила своих врагов. А сердце почему-то вдруг стиснуло, словно над ней могильная плита задвинулась, словно сомкнулись над головой темные воды и в третий раз пропел петух. Едва не взвыла от нахлынувшей покинутости и одиночества.

Рядом с бредящим ассасином поставили миску с полбой и кувшин воды, а утром умирающего нигде не было. Загаженное одеяло корчилось вонючей кучкой, кувшин был опрокинут, к тюремной пище даже дворовые собаки не прикоснулись, – разобраться бы, чем эти стражники кормят несчастных! – зато посреди двора возникла неведомо кем принесенная огромная связка сочных фиников. Видно, правду говорили, что для ассасинов нет невозможного. Констанция не огорчилась исчезновению заразного басурманина, пусть его хоть сам дьявол в преисподнюю утащит, но напугало, что ассасинские фидайны, оказывается, запросто могли проникнуть за стены и запоры ее цитадели.

В теплый, проплаканный, душный, безутешно-уютный полумрак опочивальни она не вернулась. Раскаленный кусок железа, нестерпимо сжигавший нутро в первые дни, остыл. Вместо того навалился и давил на сердце гробовой гнет отчаяния и тоски. Констанция поверила в смерть Пуатье, и он покинул ее. Совсем недавно сводило с ума ожидание, что вот-вот Раймонд войдет, а теперь он ускользал безвозвратно – выветрившийся запах на подушке больше не пронзал подреберье, как копье Лонгина пронзало Иисусово тело, раскаты мужского смеха со двора не заставляли подлетать к окну, в толпе больше не мелькали длинные выгоревшие пряди. Стирался, блекнул образ умершего, даже в дремотном полуза-

бытьи меж явью и сном не являлся больше. Как будто и не было никогда на свете прекрасного Раймонда де Пуатье.

Грануш гладила руку своей голубки, утешала:

– Не вини себя ни в чем, аревс. Град бьет и поле праведника, и поле грешника.

Поле грешницы Констанции град несчастий выбил подчистую.

Еще до августовских календ отчаявшиеся защитники Апамеи сдали город Нуреддину в обмен на свои жизни. Плохо пришлось бы и соседним владениям Антиохии, но внимание тюрка привлек Дамаск: дамасский атабек Мехенеддин, продолжавший, благодаря своей изворотливости, оставаться единственным неподвластным Алеппо мусульманским правителем в Сирии, пал жертвой своего чревоугодия: мамлюк объелся любимым блюдом из мурен, слег от непереносимой боли в кишках и вскоре скончался. Исполнилось пророчество псалма: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их – западнею». Наследовавший ему эмир Муджир ад-Дин Абак оказался слабой заменой, и Нуреддин оставил в покое франкские владения, вознамерившись сначала завершить завоевание мусульманской Сирии.

Судьба посылала Зангиду одну удачу за другой, и он, как медведь у речных порогов во время весеннего нереста, не успевал заглатывать все то, что само шло ему в рот: в ноябре скончался его брат, властитель Мосула. Ненасытный Нуреддин отложил завоевание Дамаска и немедленно озаботился присвоением месопотамских земель брата. Как курица по зернышку выклеывает рассыпанное по двору пшено, так атабек захватывал крепости, города и земли, а у тех правителей, которых пока не мог одолеть, брал в жены дочерей, превращая их в союзников. Даже конийский султан, главный противник василевса Мануила Комнина, и тот породнился с Зангидом.

Но враждовать с Ромейской империей Нуреддин не жаждал. Уж очень успешно возрождал Мануил империю Юстиниана: Корфу отвоевал и почти всю Киликию под власть Константинополя вернул. Поэтому атабек Антиохию больше не тревожил: лишившееся почти всех земель княжество, управляемое патриархом и молодой вдовой, ничем теперь тюркам не угрожало, зато превратилось для Зангида в полезный буфер между ним и могущественными греками.

Той зимой ни днем ни ночью не прекращались дожди, словно сама природа оплакивала Пуатье. В памяти Констанции остались только каменный холод церковного пола, душашее тепло детских спален и давящая мгла непереносимой безнадежности.

С паломниками и путешественниками пришло известие, что у французской королевы родилась вторая дочь. У женщины, отнявшей отца у малюток Констанции, появилось живое дитя, безрадостный брак Алиенор с вялым Людовиком принес плод.

– Девчонка вместо дофина! – фыркнула Грануш. – Невезучий Капет!

Сливовые глаза Изабо заблистали, вишневые губы задрожали. Констанция обняла подругу:

– О, милая Изабо! Я не перестаю молиться за тебя!

– Детей не молитвами делают, а я лучше на костер взойду, чем с Эвро снова лягу.

Смеркалось, больше не удавалось разглядеть рукоделие, но Констанция медлила требовать свечей. В полутьме призналась:

– Изабо, всего больнее, что он уже никогда, никогда не полюбит меня снова. Не могу простить, не могу смириться, что он так и ушел, любя ее. А теперь уже ничего не исправишь.

– Это пройдет, мадам, пройдет. Уж как я по Юмберу убивалась, а теперь даже не вспоминаю, только иногда наткнусь на него, однорукого, и реву всю ночь, как дура. – И сразу же отвлеклась, защебетала: – Мадам, а рукава-то во Франции нынче до пола носят, надо и нам свои перешить.

Изабо, несчастная, как ветхозаветная Ноэми, продолжала хохотать, менять наряды, кружить мужские головы и сплетничать. Легкомыслие спасало ее от отчаяния, хоть и не избавляло от постылого супруга и не возвращало усопших детей. Впрочем, у Констанции в утешение даже легкомыслия не имелось.

Весной неуемный Нуреддин осадил Дамаск со своим многочисленным, как египетская саранча, аскаром. Он мог бы взять город силой, но не желал являться жестоким покорителем. В отличие от отца, прозванного Кровавым, сын стремился вдобавок к землям и телам покорять сердца и души, в этом была его сила, но это же заставляло его осторожничать. Напуганный наследник Мехенеддина не стал шепетильничать: воззвал о помощи к Иерусалиму. Франкская армия по-прежнему являлась силой, способной остановить атабека Алеппо, и Бодуэн III не мог допустить падения последнего независимого эмирата Сирии в руки главного врага. Так иерусалимское войско бросилось спасать Дамаск, который само безуспешно осаждало всего два года назад. Терпеливый и осмотрительный, Нуреддин отступил, а Дамаск вновь принялся выплачивать франкам дань.

В мае граф Жослен II де Куртене направился в Антиохию, где надеялся обрести хоть какую помощь в отвоевании Эдесских земель, но по пути был захвачен сарацинами. Нуреддин, такой жалостливый к жителям Дамаска, франкского барона не пощадил: несчастного ослепили и бросили в алеппский застенок. От Эдессы, во времена Жослена I простиравшейся на все Междуречье, осталось шесть крепостей, манящих атабека, как манит разбойника звон монет в кошелье одинокого путника. Супруга плененного Куртене, Беатрис Киликийская, дочь армянского царя Константина I, с превеликим трудом продолжала оборонять твердыни, но гарнизоны ее таяли, а жители вконец обнищали. Поэтому, когда Мануил предложил выкупить у нее оставшиеся территории, дошедшая до крайности графиня обрадовалась неожиданному предложению, словно вести архангела Гавриила.

Однако остальным латинянам, которым на Мануилово золото рассчитывать не приходилось, расстаться с последними клочками некогда огромного графства, с первым своим завоеванием в Леванте было тяжелее, чем девке с честью, первенцу с первородством и армии с потрепанным знаменем. На собрании Высшей Курии бароны хорохорились, грохали кулачищами по столу, перекрикивали друг друга:

- Землей Господа не торгуем!
- Ни пяди схизматикам!
- Пусть ромеи своей кровью завоюют!
- На помощь Мануил не спешит, а воспользоваться нашей крайностью тут как тут!
- Между Тигром и Евфратом рай находился! Негоже святую землю Междуречья схизматикам продавать!

Одна королева Мелисенда, женщина, которой мужская доблесть не заменяла разума, вмешалась:

- Мануил знает, что он тоже не сможет удержать эти крепости.
- Зачем же тогда покупает? Поглумиться над нами?
- Он не земли покупает, а право на них. Чтобы в будущем ни мы, ни магометане никогда больше не смогли претендовать на Эдессу.

Поразмыслив, бароны порешили, что никакое греческое золото не может помешать им при первой же возможности захватить что угодно обратно, а пока все же лучше Византии продать, чем сельджукам задаром достанется. И пусть весь позор потери завоеванной крепостями территории ляжет не на непобедимых франков, а на подставившегося императора.

Пятьсот рыцарей Бодуэна с пятью тысячами пехотинцев спешно прибыли в Сирию охранять уход гарнизонов. Всем местным христианам и армянам король предложил под своей защитой перебраться в земли латинян. В первый же день сарацины атаковали отступа-

ющую колонну, но Бодуэн многому научился со времен своих первых походов, дисциплина среди его воинов была железная, и франкам удалось достигнуть Антиохии без потерь.

– Вы видели наш обоз? Утыкан стрелами как дикобраз! – поседевшая, с запавшими щеками и торчащими скулами, Беатрис де Куртене много и с аппетитом ела, охотно пила и непрерывно болтала.

Ее дочь, семнадцатилетняя Агнес, взмахнула чашей:

– Я пью за всех наших защитников – за мессира Онфруа де Торона, Робера де Сурдеваля, за вас, Гуго д’Ибелин, и за вас, мессир, – медленно обвела мужчин прозрачными хризолитовыми очами, задержалась на Рейнальде Шатильонском: – Шевалье, я сразу оценила все ваши несравненные достоинства.

– Может, еще не все, – Рейнальд лениво потянулся на скамье, а сам не сводил взгляда с белокожей и рыжеволосой Агнес де Куртене.

У Констанции сладкий пирог загорчил. Молодой Гуго д’Ибелин тоже паялился на дочь Беатрис, как на колодец в пустыне. Супруг юной Агнес, сеньор Мараша и Кайсуна, погиб в одном бою с Пуатье, а теперь и отца пленили и ослепили, но красивая вдова не казалась убитой горем. Ее словно снесало изнутри какое-то лихорадочное нетерпение и возбуждение, она часто дышала, заводила глаза к потолку, раздувала ноздри, поправляла локоны, касалась пальчиком собственных губ и торжественно возлагала ладонь на грудь. Задрав острый подбородок, заявила:

– Будьте уверены, ни единого мгновения я не буду печалиться об этой проклятой Сирии! – Быстро, как змейка, слизнула капельку вина с края бокала: – Отныне я намереваюсь только веселиться и искать счастья, потому что уже знаю, как жизнь коротка и как ужасна.

Юной бездетной Агнес это не составит труда: помимо развязности и манерности, привычки плотоядно облизывать губы и блудливого взгляда, мужскому вниманию ее теперь рекомендовали и мешки с византийским золотом. У ее матери Беатрис де Куртене уже не разглаживались горькие морщины между бровями, но и она не скрывала радости:

– Такое облегчение – избавиться от этой страшной мороки! Всё, всё потеряно в этом проклятом месте! Вы себе не представляете, каково это было – отстоять Турбессель от Нуреддина! До сих пор просыпаюсь по ночам в кошмарах и со слезами благодарю Господа, что больше не надо носиться по фортификациям и представлять нас всех в застенках! Я уже была готова бежать оттуда голой и босой, лишь бы спасти детей, а тут такое щедрое предложение Мануила! Я прямо упала на колени и только молилась, чтобы король не воспротивился. Чего здесь ждать?! Это же проклятая земля, которая собственных сынов пожирает. Но теперь всё это – забота василевса.

Не очень-то деликатно со стороны дам Куртене так неприкрыто ликовать, что им повезло выгодно обменять завоевания предков на полные золота сундуки, в то время как Констанция оставалась защищать рубежи, вплотную сдвинувшиеся к ее владениям. Антиохию вместо золота заполнили сирийские и армянские беженцы, отказавшиеся положиться на греческую защиту. Констанция не удержалась:

– Да, теперь это забота валисевса и моя. Но если мы все уйдем, настанет очередь Иерусалима.

Беатрис осеклась, в бессчётный раз наполнила кубок:

– Часть меня ликует, что спаслись, мадам, а часть печалится. Я была владетельной графиней, а превратилась в никому не нужную приживалку при королевском дворе. Ранкулат я все же в сделку не включила, подарила армянскому католику, армяне всегда были нам преданы. Пусть хоть что-то уцелеет от наших мук и жертв. Католикос и с греками, и даже с тюрками договорится, я уверена. А мне надо было спасать детей, больше у меня ничего не осталось.

Как ничего? А мешки?! Впрочем, Констанция не судила несчастную графиню. Беатрис еще в юности потеряла первого мужа Гильома, сеньора Саона, ужасная судьба постигла и Жослена де Куртене, от графства сохранился лишь титул, а единственной отрадой стали беспрестанные жалобы:

– Нет хуже жребия, чем иметь мужа в заточении, ваша светлость. Как ни страшно вдовство, еще хуже знать, что супруг гниет год за годом, прикованный железной цепью к стене, и быть бессильной. Нуреддин ни за какие деньги не соглашается выпустить Жослена. Я не жена и не вдова...

Констанция представила скованного Куртене с кровавыми глазницами на месте умных серых глаз и содрогнулась. Но ее внимание снова отвлекла отчаянная Агнес: княгиня и презирала ее, и завидовала ей. Юная вдова, не стеснясь, окликала мужчин, шутила, всячески привлекала внимание, и это нравилось им. Гуго д'Ибелин с нее глаз не спускал, и Рено де Шатильон, хоть и качал головой, а ухмылялся себе под нос. Констанция несколько раз намеревалась тоже вернуть в разговор что-нибудь остроумное и интересное, но так и не решилась. Просидела весь вечер, чинно беседуя со старухами.

Беатрис де Куртене перебралась со своим обозом золота, с Агнес и сыном Жосленом в Иерусалим, и тем же летом Нуреддин отбил у греков Турбессель. Франкская крепость вновь превратилась в Тель-Башир, а Антиохия осталась последним оплотом латинян в Сирии.

Наступило засушливое лето. Увяли цветы, полегли травы, сморщились листья на деревьях. В пересохшем воздухе носилась пыль и тополиный пух, дни протекали в сонном, бессмысленном ничегонеделании. Констанция лениво бралась за вышивание престольных покровов и задумывалась, уставившись на мутное марево горной дали, принималась диктовать необходимое послание и замолкала, пока секретарь не возвращал из забытья осторожным покашливанием, начинала разговор и не слышала ответа, ласкала детей и внезапно уходила в свои мысли, не замечая приставаний Бо или рева упавшей Филиппы. Даже на мессе пребывала рассеянной.

Раймонда уже год не было среди живых. Сухим летом выцвели воспоминания, раскаяние, ненависть и обида иссушились, как цветок, забытый меж страниц фолианта. Душой Констанции овладела горячая тоска, а телу было одиноко и томительно без любви и ласки. Ей уже двадцать лет и четыре года. Неужто так все и будет тянуться до гробовой доски, как обещает дама Доротея?

Изабель уверяла, что виной всему пустое ложе, и даже дама Филомена больше не обрывала глупую трещотку. Из женщины, по каждому поводу имеющей и неизменно высказывающей резкое мнение, мадам Мазуар превратилась в равнодушную молчаливицу. Дни напролет сидела без дела, тихая как мышь, понуро уставившись в окно или на свечу. Крепость Маргат отошла племяннику покойного греховодника Рейнальда Мазуара.

Осенью стало вовсе неумоготу. Без перемен, одна, забытая всеми, Констанция пропадет, сгниет, завянет, зачахнет. Аббат Мартин посоветовал сходить в Град Мученичества Христова, помолиться на Гробе Спасителя, и мысль о паломничестве вторглась во тьму прозябания ослепительным лучом. Туда всегда спешил король, туда увезла Беатрис сладострастную Агнес, туда, не оглядываясь, укачал Шатильон. В Иерусалиме текла настоящая, яркая, счастливая жизнь, и душа рвалась к ней из затхлого склепа вдовства. Счастья хотелось, как цветку света, как путнику привала, как дождя земле.

В Иерусалиме о Констанции тоже помнили. Едва миновал год траура, из столицы потекли настойчивые предложения новых брачных уз. Констанция твердо решила, что если выйдет замуж еще раз, то только за того, кого полюбит так, как любила Пуатье, и кто тоже полюбит ее всем сердцем. Она заслужила это право, она суверенная княгиня и никому, кроме Господа, не подвластна. Вслух, правда, помалкивала, потому что Изабо не поняла бы, зачем

брак для любви, а все остальные не поняли бы, зачем любовь для брака. Но из-за слабости княжества наотрез отказывать Иерусалиму не смела, лишь отмалчивалась и отнекивалась. А королева Мелисенда настаивала, угрожала лишить племянницу поддержки и защиты. Изабо, тоже рвавшаяся в столицу, с детской хитростью уговаривала пуститься в путь.

– Мадам, надобно бы взглянуть на женихов. Хоть один да непременно приглянется, – истово уверяла женщина, которой нравились все, кроме собственного супруга. – А нет, так не поволокут же княгиню Антиохии к амвону насильно.

– Изабо, Мелисенда может на плаху заставить взойти.

Впрочем, Констанции и самой казалось, что в Иерусалиме все прояснится, а что все – и сама не могла сказать. Вспоминала завлекающий взгляд, брошенный Агнес на Шатильона, его небрежный ответ, белозубую улыбку, темный ежик волос – и щеки пылали зарей. Надобно было ехать.

Безопасней всего добираться морем до Яффы, оттуда до Святого города два дня пути. Собрались в дорогу сразу после дня великомученика Киприана и мученицы Иустины.

Восточное окно октябрьского дня едва серело, когда Констанция прощалась с детьми. Мария, прелестный ангел, с всклокоченными волосиками, с отпечатавшимися на пухлой щеке складками подушки, обняла материнскую шею теплыми ручками. Крошечная Филиппа мирно дремала на руках у кормилицы, Констанция поцеловала ее веки, погладила мягкие локоны. Столько несчастий обрушилось на их семью с рождения Филиппы, что малютке почти не досталось материнской любви и ласки. Вид детей всегда укорял, а сейчас, когда расставалась с ними до весны, скрутило от вины. Но даже ради них она не может прозябать тут и дальше. Пока жива-здорова татик, чада будут присмотрены и любимы.

Шестилетний Боэмунд понимал, что мать уезжает надолго. Кровь Раймонда уже являла себя – дни напролет сын упражнялся в стрельбе из арбалета, махал мечом и скакал по двору на буланом Фазтоне. Когда-нибудь он станет надежной опорой и поддержкой. А пока маленький воин крепко обхватил Констанцию, прижался к ней в страстной немой мольбе. Бо говорил редко, стеснялся заикания.

– Ты ведь всегда будешь любить мамочку, правда, аревс, солнышко мое?

Страстно расцеловала своего крохотного защитника, пропустила мимо ушей вечное мамушкино ворчание: «Скверная мать, сидела бы с детьми, чем по белу свету мотаться», в последний раз благословила отпрысков. Вот возвратится и непременно посвятит себя детям.

Последние наказы, еще одна молитва покровителю путешественников святому Христофору – и кавалькада тронулась в путь. Татик на счастье плеснула вослед воды.

День занимался пасмурный и свежий. Порывы сырого ветра доносили колокольный звон утренней службы, ранний покой вспарывало звонкое эхо собачьего лая и редкие пронзительные птичьи свисты из зарослей олеандров. Ночью прошел ливень, ветер морщил рябь луж, копыта чавкали в дорожной грязи, Каприза фыркала теплым паром, звенели удила, с придорожных ветвей на низко надвинутый капюшон и плечи Констанции падали холодные капли, даже в перчатках мерзла держащая поводья рука. Рядом тряслась и тараторила Изабо, счастливая, что скука Антиохии и постылый Эвро отдалялись с каждым шагом, шумно зевал паж Вивьен, топтали хрупкую зыбь осеннего утра грубый бас и оглушительное сморкание Бартоломео. Скрытые серебристым туманом скакали позади придворные дамы и рыцари, за ними тянулись оруженосцы, валеты, священники, тащился на плешивом муле ибн Хафез. До гавани Сен-Симеона отряд провозжали вооруженные стражники.

В порту ждала нанятая венецианская трирема. Констанция со свитой взойшла на борт.

Влажный, соленый морской ветер трепал одежду и волосы, пронзительно вопили чайки, прекрасная, сияющая синевой и золотом трирема качалась на волнах, звенел таке-

лаж, оглушительно трещал парус, трепетал вымпел со львом святого Марка. Все будоражило и тревожило, предзнаменуя новую, иную, лучшую жизнь. Женщины устроились на носовой надстройке палубы, подальше от смрада и взглядов гребцов. Смуглый, бородатый капитан Антонио кричал на матросов, сопровождал приказы взмахами волосатых рук, украшенных кольцами, увешанных серебряными браслетами, но даже его непонятные проклятия казались княгине дивной музыкой.

Трирема двигалась вдоль гористого зеленого берега. Венецианский капитан облокотился на поручни рядом с дамами, ветер надувал его рубаху, облеплял худое, мускулистое тело, доносил хищный запах пота. Длинные черные с проседью кудри были перевязаны платком, в ухе качался обод золотой серьги, глаза сверкали и смеялись, белая улыбка, в которой не хватало бокового зуба, прорезала смоляную бородку.

– Я эти берега впервые еще мальчишкой увидел, – в иноземных распевах капитана слышался отзвук прекрасного, далекого, огромного и удивительного мира. – Тогда сам дож повел нашу непобедимую армаду к берегам Палестины. Триста галер, пятнадцать тысяч маринайо, все отчаянные, как я сам, – понизил голос, чуть-чуть придвинулся, в широком вырезе рубахи бился о смуглые ключицы кожаный шнурок с ладанкой. – Ну может, не все, беллиссима принчипесса. Таких, как я, вообще мало, клянусь вам как маринайо и честный человек!

Стрелял глазами, смеялся, закидывал голову, обнажая кадык. Констанция слегка отодвинулась, продолжая вынужденно улыбаться. Италийцы славятся своей фривольностью, а если Изабо продолжит так заглядываться на brave моряка, ее смоеет волной.

– Дождь отрядил восемнадцать наших галер увлечь за собой египетские корабли от Аскалона к Яффе. Эх, миа карина принчипесса! Видели бы вы меня тогда – кожа да кости, но молод и отчаян! С одного взгляда я покорил бы ваше сердце!

Мужчинам каждая одинокая женщина кажется доступной добычей. Ничто их не останавливает: ни разница в положении, ни траурное одеяние, ни собственная седина. Вот и Антонио явно считал, что полонить вдовую княгиню так же легко, как и египетский флот.

Бартоломео д’Огиль перегнулся через поручень и мучительно содрогался, извергая съеденное накануне в морские недра. Изабо губы искусала от бессильной ярости: этот неуклюжий солдафон еще и в плавании расклеился! Женщина, как известно, хороша лишь настолько, насколько хороши ее обожатели, и жалкий воздыхатель непоправимо ронял престиж мадам де Бретوليو. Сухопутному увальню не простится этот постыдный приступ морской болезни на глазах у шармантного венецианца! А навязавшийся на ее голову злосчастный поклонник вдобавок побрел напрямик к ней, качаясь и придерживаясь за снасти! Изабо от него отвернулась, заулыбалась ловкому Антонио, скользящему по палубе с ловкостью базарного канатоходца.

– Ах, капитан, вы и сейчас хоть куда!

Морской волк тут же сменил курс с недостижимого княжеского флагмана на ее беззащитный галеон:

– О, беллиссима донна Изабелла, мы притворились, что пытаемся скрыться бегством, навалились на весла и помчались в открытое море! Эти маскальцони-египтяне неслись за нами, как портовые путаны за маринайо!

Капитан выжил, и ему было приятно потрясать прелестных донн подвигами юности. Но Бартоломео не собирался уступать прекрасную даму своего сердца ничтожному италяшке. Серый от недомогания, едва держась на ногах, д’Огиль запальчиво просипел:

– Драться на море – занятие для трусов! Истинный воин должен сражаться только на суше и верхом! В этой поганой воде от благородного человека ничего не зависит! В любой момент может начаться буря, и чертовы суденышки пойдут на дно. А чего стоит одна коварная морская немощь, перед которой бесполезна вся рыцарская отвага и сила? – сморщился, сглотнул с усилием. – Клянусь, я скорее в монахи пойду, чем снова взойду на борт!

Бартоломео в который раз мучительно скорчился над водой, и Антонио победно заломил бровь:

– Египетские суда громоздкие и неповоротливые, но мы нарочно медлили, подпуская их, чтобы прочнее увлечь за собой. Эти филы де путана уже вовсю ликовали, дождь их стрел уже пенил воду за кормой, когда вдруг горизонт застлала остальная венецианская армада! Наши юркие, поворотливые галеры отрезали египтян от берега, и мы обстреляли их греческим огнем из гигантских арбалетов. К вечеру весь фатимидский флот покоился на морском дне.

Изабо восхищенно ахнула, Антонио наслаждался произведенным впечатлением, а Констанция вглядывалась в свинцовые воды. Где-то там, в неизмеримой глубине, гнили останки кораблей, лежали в иле объединенные рыбами скелеты утопленников. Ничуть не лучше, чем быть захороненным без головы.

– Ваш дед Бодуэн II, прекрасная принчипесса, предложил нам вместе отвоевать либо Тир, либо Аскалон. Дождь выбрал Тир, и мы осадили гавань с моря, а франки одновременно напали на город с суши.

– А почему Тир?

– Тирский порт несравнимо удобнее, и через него идет торговля с Дамаском. А в Аскалоне что? Нищий берег, мелкое побережье и открытый рейд?

– Можно подумать, вы одни Святую Землю завоевали! – прогудел Бартоломео, распрямляясь и утирая рот.

– Без нас ничего бы у ваших героев не вышло! Даже Иерусалим взяли только с помощью генуэзцев! Наши флотилии незаменимы – невозможно владеть Утремером, не владея морем! Недаром египтяне строят свои корабли по образцам наших галер и греческих дромон. Но их оснастка нашей и в подметки не годится. И где им в пустыне взять корабельный лес и железо?

– В самом деле, где? – Бартоломео сплюнул в волну. – Вы, главное, им не подсказывайте, глядишь, сами тупоумные обрезанные собаки и не догадаются, кто тут за магометанское золото родную мать в султанский гарем продаст!

Антонио намек франка не смутил:

– Допустим, – сверкая браслетом, взмахнул обезьяньей рукой с длинным ногтем на мизинце, – допустим, нашлись бы на белом свете пронырливые поставщики, но – пусть прелестные дамы не подумают, что их мильоре амиго Антонио хвастается! – откуда басурманам взять опытных капитани?!

Бартоломео заметил замороженный взор Изабо, поправил меч, прогудел укоризненно:

– Чего стоят умение и опытность людей, на верность которых нельзя положиться?

Очень многого стоит верность, которую приходится покупать по рыночной цене. Мореплаватели-торгаши неизменно умудрялись взыскивать с франков непомерную плату: треть всей добычи, треть Тира, в каждом городе королевства свой квартал с церковью, пекарней и термами, лучшие угловые места на базарах, право во всех сделках использовать собственные меры и весы. Но без них было не обойтись: Бартоломео верно заметил – франкские рыцари воевали только на суше и только верхом. А поскольку глубь материка занимали непроходимые для конских копыт пустыни, Утремер и протянулся по кромке моря, где флот был незаменим. Д’Огиля снова скорчило над кормой, и Антонио вдругорядь торжествующе завладел вниманием дам:

– Больше года наши галеры блокировали Тир со стороны моря, а когда город наконец пал, даже я, мальчишка, разжился настолько, что смог купить себе суденышко! В честь своей возлюбленной Венеции нарек ее «Серениссима», и с тех пор все мои корабли крещены одним именем с жемчужиной Адриатики.

Ворвавшись в город, моряки безжалостно вырезали и грабили жителей, нарушая обещания франков щадить сдавшихся, а если бы кровососы не заламывали с паломников несусветные деньги за каждый клочок палубы, Утремер давно бы заселили правоверные христиане.

– Вы, торгаши, не цените то, что нельзя продать! – Бартоломео распрямился, протер измученное лицо полрой плаща. – На неосвященной гостии даю зарок сожрать собственную перчатку без соли, если я когда-либо опять ступлю на корабль! Святая Дева Мария, я подарю твоей иконе новый серебряный оклад, если ты вернешь меня на твердую землю!

– Мессир д’Огиль, – Изабо отпрянула, обмахиваясь концом покрывала, – не могли бы вы перейти на корму, все-таки мы с княгиней от вас с подветренной стороны!

Посудину качнуло, бедняга Бартоломео едва не шлепнулся, но успел ухватиться за мадам де Бретолио и в падении порвал ее новую бархатную юбку. Поднимаясь, учтиво заверил:

– Бартоломео лучше за борт бросится, чем вызовет ваше неудовольствие!

– Да уж куда было бы лучше! – воскликнула Изабо.

Антонио упреки рыцаря не смутили:

– Каждый ищет тут то, что ему надобно. Грешник – искупления, рыцарь – славы, дева, – перевел лукавые глаза на дам, – девы, впрочем, повсюду ищут любви. Но миром двигает торговля. Ради барыша караваны пересекают пустыни, галеры – моря, а армии – горы и пустыни.

– Так вошь уверена, что собака существует ради нее!

– Так конь везет всадника, – с язвительной вежливостью поклонился Антонио. – Разве франки сами не кормятся пошлинами с мусульманских торговцев? Без басурманского золота рыцарь хромую кобылу не смог бы купить.

Констанция возмутилась:

– Для нас деньги – средство, а для вас – цель! Правильно сказал святой Иероним, что купцы неуютны небесам! Вы бы и Град Христов по сходной цене продали!

– О, серениссима принчипесса! Я последний, кто решится богохульствовать в море, да помилует меня наш заступник святой Эльм, – Антонио суеверно полез за пазуху, вцепился в амулет: – Иерусалим дорог нам тем, что в нем жил и потерпел ради нас Спаситель, но если бы вы увидели мою Венецию, Канале-Гранде, собор Святого Марка, рынки Риальто, Дворец дождей... – Он мечтательно завел глаза и замер, не в силах выразить своего обожания: – Ах, принчипесса, клянусь кровью Христовой, вы бы поняли, что Пуп Земли вовсе не в маленьком грязном городишке, упрятанном в диких горах! Пуп Земли там, куда стекаются деньги, люди, новые знания и умения. Недаром даже Викарий Христа обретается не здесь, а в Италии! Каждый раз, когда я возвращаюсь в родные лагуны, я чувствую, что Иисус простил мне все грехи.

Развязный Антонио возмущал и в то же время тревожил Констанцию. Она перешла на другой борт. Но везение не полностью покинуло старого морского волка – Изабо тут же заняла ее место, и неунывающий капитано, похоже, намеревался взять на абордаж любую ладью, готовую сдаться без боя.

Страшно кренясь, трирема под парусом шла вдоль берега, вздрагивая под порывами ветра, взлетая на волну и низвергаясь с нее. Благоразумнее было возносить молитвы о скорейшем и безопасном прибытии, нежели внимать рассказам пройдохи и пирата Антонио. Волны, качавшие суденышко, донесли до Утремера от противоположного невидимого берега, от удивительной, заманчивой, таинственной *la Serenissima*, Сиятельной Венеции, уверенной, что ее мирское процветание и красота важнее святости Иерусалима. Эти же волны омывали и берега «милой» Франции, бароны и королева которой с таким презрением отнеслись к латинянам Леванта. Мир огромнее и разнообразнее, чем представляется, если ты родилась и всю жизнь провела в Антиохии, но Констанции не суждено увидеть далекие

края, для нее на земле определено одно-единственное место – возлюбленная Земля Воплощения, и нет жребия достойнее.

Гребцы-галиоты мерно и неустанно заносили весла, рывками продвигая корабль сквозь воду, словно протыкали иглу сквозь овечью шкуру.

Издали Яффа напоминала красочную миниатюру часослова: холм венчали крепость и большой собор, а к ним карабкались, взбираясь друг на друга, постройки из песчаника, меж ними торчали зеленые зонтики пальм и тонкие пики кипарисов. Вокруг города уже почти замкнули спасительный пояс новые высокие стены, столь широкие, что по ним могли разехаться всадники. Постепенно огромная золотая Яффа с перестроенными из мечетей церквями, грозным замком и сторожевыми башнями приблизилась и нависла над просторной сине-зеленой гаванью, отделенной от открытого моря рифами и скалами, теми самыми, к которым была прикована Андромеда и с которых рыбачил святой Петр.

Все плавание неугомонный Антонио нещадно поносил яффский порт: и мелок он настолько, что большим нефам приходится стоять на рейде, и гавань от ветра не защищает, и море в этих местах опасное, бури зачастую крушат суда у самого берега. Однако бирюзовые воды Яффы оказались приветливы, веял легкий ветерок, солнце играло на воде, трирема беспрепятственно пришвартовалась у пристани, капитан радостно напевал и весело чертыхался: пусть княгиня оказалась невосприимчивой к его чарам, и даже Изабо отказалась осмотреть трюм, но в порту наверняка найдутся женщины и поговорчивее.

Констанция жадно разглядывала берег. Лица здесь казались веселей, крики чаек – звонче, воздух – теплее, а море и солнце – ярче и красочнее, чем на севере.

Здесь, в древней Иоппии, творил чудеса апостол Петр, воскресивший девицу Тавифу, здесь жил Иов, вон с того причала отправился в Компостеллу апостол Иаков. В этих же водах кит проглотил Иону, а потом выплюнул его на берег.

Залив был полон непревзойденных по маневренности галер и стоящих на якоре купеческих нефов, каждый способен вместить полторы тысячи человек. Били колокола, сообщая о прибытии в порт нового корабля, над морем галдели и метались птицы, от кораблей к мосткам сновали плоскодонки с товарами, а берег кишел муравьями-носильщиками с тюками на головах, поводьями, паломниками, торговцами, нищими, закованными рабами, навьюченными поклажей верблюдами, лошадьми, мулами и осликами. У самых сходней на покрытом коврами помосте писцы таможи проверяли каждый мешок и устанавливали пошлину. Казалось, прав был Антонио, и крестоносцы завоевали Палестину ради того, чтобы в сундуки Иерусалима, Венеции, Генуи и Пизы стекался поток золотых безантов, динаров и гиперпионов.

На пристани группа путешественников, одетых в желтые атласные халаты, шаровары и такие же желтые тюрбаны, объяснялась с писцами при помощи арабского толмача. Внезапно прево рассердился, закричал и ударил одного из чужеземцев по лицу. Тот подхватил свалившуюся чалму, продолжая униженно кланяться.

– Вивьен, выясните, что происходит, чем провинились магометане?

– Это не магометане, ваша светлость, – заявил паж с гримаской отвращения. – Это евреи из Кордовы, столицы Аль-Андалуса. Говорят, нынешние правители их города изгоняют или убивают всех, кто не готов перейти в басурманскую веру.

Из Иберии? Таинственной христианской земли, томящейся под властью мавров, в которой сыны Христа подвергаются гонениям и притеснениям? Княгиня впервые видела тамошних иудеев. Нехристи были богато одеты, увешаны украшениями и вели себя слишком заносчиво для ничтожного племени, чью гордыню Господь сломил в своем правосудии. Наверное, эта несправедная роскошь и неоправданная гордость и возмутили таможенника.

– Судя по виду этого неверного, грязным евреям жилось там слишком хорошо! – возмутился Вивьен. Констанция остановила болтуна, но ей самой было досадно, что люди, распявшие Сына Божьего, не выражали ни малейшего раскаяния.

– Княгиня, не удивляйтесь благополучному виду этих чужестранцев, – разъяснил подозванный Ибрагим ибн Хафез. – Во времена Омейядских халифов в Аль-Андалусе процветали науки и искусства, торговля и земледелие, и каждый мог благоденствовать, даже иудеи. Но ныне Кордовой владеют альмохады – суровые воины джихада, они изгнали или казнили всех, не желающих принять истинную веру.

– Видно, магометане способны начать джихад даже в тех странах, где ислам правит уже столетиями. Я надеюсь, тамошние евреи не вздумают переселиться на Святую Землю.

– Когда-то здесь были их царства, Аль-Кудс свят и для них.

– Но это больше не их город! У них здесь больше ничего нет. Иерусалим искуплен и обмыт кровью распятого ими и поправшего смерть Христа.

– Кое-что осталось: часть храмовой стены, могилы...

– Что значат нескольких камней?

– Иудеи привязаны к этому городу памятью. Это очень сильная вещь – память, возможно, сильнее всего. Над памятью не властны ни ветер, ни дождь, ни чужие руки. Никто, кроме Господа, властелина времени, не может уничтожить того, что держит в себе память.

Странные кордовские евреи скрылись из глаз, Вивьен поскакал за ними, наверняка выдумал какую-то каверзу.

– Очень упрямое племя, – вздохнул Ибрагим. – В Аль-Искандарии я когда-то свел знакомство с одним знаменитым яхуди из Кордовы, направлявшимся в Аль-Кудс. Соплеменники высоко почитали его за поэмы, философские писания и медицинские умения. Этот Иегуда Галеви рассказывал, что в дни его детства в Кордове проживало больше ученых, нежели пекарей, а в библиотеке последнего халифа хранилось столько же книг, сколько звезд на небе.

– Мавры – захватчики и варвары! – возмутилась Констанция. – Они захватили христианскую Иберию, разрушили собор в Сантьяго-де-Компостела, нападали на окрестные земли, умерщвляли и обращали в рабство мирных жителей!

Трусливый Ибрагим никогда не перечил:

– Увы, нынешние берберы-сунниты заставляют вспоминать своих предшественников с сожалением. Ревностные альмохады сожгли все сокровища кордовской библиотеки, заявив, что они вредны, если противоречат Корану, и излишни, если соглашаются с ним. Боюсь, не только иудейская мудрость покинет Аль-Андалус.

– Какая у иудеев может быть мудрость? Одно колдовство и черная магия, – заметила изнемогавшая от жары и скуки Изабо.

Констанция согласилась. Чего стоит мудрость людей, которые отвергли душеспасительное Евангелие и держатся за свои заблуждения, даже если их за это преследуют на этом свете и страшно накажут на том? Ибрагим снова увильнул от прямого ответа:

– Возможно, иудеям действительно не хватает собственной ветхозаветной мудрости, и потому они так основательно изучили чужую, но с этим Иегудой Галеви было весьма интересно и познавательно беседовать о сочинениях Аристотеля, Гиппократы и Платона. Он прекрасно знал труды Али ибн Сины-Авиценны и ибн Туфайля-Абубасера. Старик щедро делился со мной медицинскими познаниями мавров. Это он научил меня усыплять больного при разрезе живота и ампутации рук или ног. Он же рассказал, что кордовские медики просверливают дырочки в черепе, чтобы облегчить боль тех, чей мозг словно стиснут железным обручем. Даже уверял, что с помощью серебряных игл они умудряются возвращать зрение ослепшим от помутнения зрачка. Но в это я, конечно, не поверил.

– Ибрагим, если вы приметесь проделывать дырочки в христианских головах, вам собственной не сносить, – оборвала Констанция лекаря, позабывшего, что он беседует с княгиней, не с цирюльником.

– Да... да, – спохватился ибн Хафез, – простите болтливость старика, милосердная. Но особенно меня поразило убеждение этого Иегуды, что исполнится обещание Всевышнего и его соплеменники возродят свое владычество в Сионе. Хотя и яхуди, он все же производил впечатление человека образованного и мыслящего.

– Не убеждение, а заблуждение. Обещание уже исполнилось – Утремер и есть воссозданное царство Давида и Соломона.

Египетский лекарь пожевал губами:

– Тем не менее эта мечта полностью овладела шатким разумом несчастного. Бедняга сочинял стихи, полные любви и тоски по Сиону. Сравнивал прах Сиона с благовонным мирро, реки – с амброзией... Надо отдать ему должное, стихи были изящны и трогали душу: «Сердце мое на Востоке, я же на Западе сам...» Все переживал, что не исполнит свой обет и не доберется живым до Иерусалаима, так он называл Аль-Кудс.

Кто бы мог предположить, что это жестоковейное племя способно на пылкую любовь к земле, давным-давно утерянной ими за собственные грехи? Иерусалим, второстепенный для христианина-венецианца, был все еще дорог сынам этого отверженного и обреченного народа! Наверное, Господь вложил в негодные сердца евреев и приспешников Магомета такую страсть к Земле Обетованной, дабы усовестить их примером добрых латинян и заставить верных сынов Церкви превзойти недостойные народы собственным рвением.

– Да какое значение имеют эти евреи?! – фыркнула Изабо. – Уж, верно, Иисус Христос – христианин не хуже нас, и не допустит, чтобы Святая Земля пала в руки неверных! А куда это паршивец Вивьен запропастился?

Валет появился, насвистывая и лукаво стреляя наглыми, масляными от самодовольства глазками. Констанция погладила растревоженную плаванием Капризу:

– Пусть эти евреи воочию узреют построенное нами Царство Давида, пусть убедятся, как они посрамлены и как торжествует истинная вера. Пока стоит земная твердь и кружится небесная сфера, не владеть им ни Землей Воплощения, ни Градом Страстей Христовых.

Дорога в Иерусалим, как ей Господом и положено, вела ввысь. Сквозь прозрачный хрусталь небес октябрьское солнце слепило, но уже не палило по-летнему. Тропинку затеняли сосны, рожковые деревья и дубы, а сухой осенний воздух благоухал смолой и полынью. Гнедая Каприза трясла гривой, взбираясь на очередной пригорок, и помахивала хвостом, спускаясь в заросшие ельником вади-овраги. Мечту о пешем паломничестве пришлось забросить: Иудейские горы – самая опасная часть пути. С холмов окрестности охраняют крепости Казаль де-Плен, Торон де-Шевалье и возведенный покойным патриархом Уильямом Малинским Шатель-Арнуль, но даже среди бела дня из-за нависающих над головами скал может раздаться дикий вопль бедуинов, за любым валуном или в придорожной пещере могли затаиться разбойники. Поэтому с флангов группу путешественников – княгиню Антиохии с ее свитой и присоединившихся к ним паломников из Тура – охраняли тамплиеры-сержанты на мощных боевых дестриэ, в кольчугах под черными туниками, с обнаженными мечами в руках. Командовал ими сенешаль Андре де Монбар. Чтобы поспевать за своими защитниками, паломники из всех сил погоняли старых мулов, упрямых ослов и не слушавшихся узды лошадей. Привалы делали только на огражденных стоянках.

Позади осталась Яффа с домом Симона-кожевника, приютившего апостола Петра, с шумным, грязным, пестрым месивом людей и товаров на венецианском базаре, с укрепленной цитаделью тамплиеров, монастырями и соборами богатого армянского квартала. В первый день пересекли сжатые поля ячменя и сахарного тростника долины Рамлы. За полвека латинского владычества расцвело заброшенное ранее побережье: под защитой франков

местные жители проложили дороги, навели мосты, починили древние акведуки, понастроили винодельни и маслобойни, на каждом ручье вздымали радугу лопасти водяных мельниц. Через тридцать три рынка Заморья непрерывной чередой брели груженные караваны из дальних стран, и гаваням не хватало причалов для торговых судов.

– Ибрагим, взгляните, как благоденствуют ваши единоверцы под нашей властью! В исламских землях атабеки и эмиры не перестают разорять земли друг друга, а у нас даже магометане наслаждаются миром и процветанием.

Но Ибрагиму легче мертвого воскресить, чем отдать должное христианам:

– Не все наслаждаются. Ибн Барзан, правитель Мадждаля Ябы, бросает своих феллахов в тюрьмы, вымогает четыре динара там, где полагается платить один, запрещает читать Коран по пятницам, требует, чтобы правоверные работали в священный день, и отрубает ступни ног тем, кто осмеливается перечить.

Правитель Мирабеля Бодуэн Ибелин, сын Барисана и потому прозванный арабами ибн Барзаном, действительно самонадеянный и высокомерный барон и, Бог ему судья, возможно, чрезмерно суров, но весьма огорчительно, что во всем плодоносящем саду Земли Воплощения Ибрагим заметил лишь одно червивое яблоко! Если бы Констанция всех нехристей по одному Ибрагиму мерила, она бы вообразила, что все они – люди самоотверженные и сострадательные! Но Левант последователи ислама завоевали с беспримерной жестокостью. Грануш пересказывала армянские предания, как тюрки-сельджуки при покорении Киликии и Сирии христиан, как овец, резали, с живых людей кожу сдирали, младенческие головки о камни крошили. А фатимидский халиф аль-Хаким даже усыпальницу Господа в Святом Граде разрушил.

– Мы не брезгуем перенимать ваши умения, мы переняли сохраненную вами мудрость древних, ваши знания в медицине, астрономии, географии, строительстве. Теперь христиане не хуже вас выделывают кожу, куют оружие, наши вилланы выращивают сахарный тростник, апельсины, арбузы и абрикосы, – перечисляла неоспоримые доводы княгиня. – А вы, чему вы научились у нас?

– Милосердная и справедливая властительница беседует со мной, вислогорбым верблюдом, с терпением, не заслуженным моей глупостью. Гордость, только ущемленная гордость не позволяет нам учиться у победивших нас кафиров, – уныло признался упрямец, уклончиво пряча взгляд.

Старик раздражал неподатливой покорностью. Басурманским феллахам в Утремере живется несравнимо лучше, чем их собратьям под сирийскими Зангидами и египетскими Фатимидами. А паломники, дивящиеся на глиняные дома, укрытые тенью пальм и плодовых деревьев, уверяли, что неверным под властью латинян живется даже лучше, чем добрым христианам в Европе. А уж в сравнении со зверствами оголтелых альмохадов в Иберии, франки и вовсе истые ангелы! Евреев, и тех безропотно терпят, – благодаренье Богу, этих-то в Заморье считанные единицы, – поскольку, что делать, гонители Сына Божьего оказались искусными умельцами в крашении шерсти и в стеклодувном деле. Да разве и сам Ибрагим не предпочел Антиохию Александрии?

Морщинистые щеки ибн Хафеза тряслись в лад поступи мула, нос сокрушенно клевал с каждым упреком, рука с разбегающимися по ней руслами вен терзала растрепанную бороду:

– Вы заслуженно презираете меня, поношенную ветошь. Мне пришлось покинуть возлюбленную свою Аль-Искандарию и поселиться в гостеприимной Антиохии, потому что скончался сын эмира, которого я лечил. Клянусь Аллахом, я сделал все, чтобы спасти мальчика, но зачастую медицина бессильна, а горе отца требовало отмщения. С тех пор, опасаясь его всепроникающего гнева, я скитаюсь среди иноземцев и иноверцев. Боюсь, мне суждено закончить свой земной путь на чужбине, вдали от библиотек и собраний ученых людей.

– О чем же тут сожалеть? Здесь вас не только не преследуют, но и сторицей оплачивают ваши умения.

– Ваша пресветлость совершенно справедливо укоряет своего раба в алчности. Виной всему моя неумная страсть к учености. Мудрость и знания – это такие удивительные, чудесные, редкостные птицы, которые выживают только в золоченых клетках драгоценных манускриптов и в строках древних пергаментов, за которые приходится платить золотом. – Опять схватился за мочало бороды, как за якорь, способный вытащить из пучины любых сомнений. – Но с неимущих бедняков я ничего не взимаю.

– С неимущих даже я ничего не взимаю. У кого ничего нет, с того и взыскать-то нечего, – резонно заметила Констанция, чтобы врач не возомнил о себе чрезмерно.

Спереди послышались отчаянные женские вопли:

– Господи, спаси и помилуй! Иисусе, да явится воля твоя! Грешные, обреченные, покайтесь!

Ехавшая рядом Изабо фыркнула:

– Опять наша юродивая зашлась.

Это провидице Марго снова явился Спаситель. Паж Вивьен хихикнул:

– Полюбуюсь, пожалуй.

Сердце у Вивьена холодное, не ведающее сострадания, а может, юноша просто слишком молод и глуп, если может забавляться зрелищем одержимой старухи. Впрочем, пилигримы из Тура тоже неуважительно относились к благочестивой Марго. На сей раз ясновидающая разошлась не на шутку: распростерлась в дорожной пыли, застопорив продвижение всего отряда, хлестала себя по пергаментным щекам, рвала всклокоченные седые пряди и истошно вопила на все холмы Иудеи. Увы, за время совместного странствия паломники привыкли к подобным представлениям, зачерствели сердцами и считали несчастную – и это мнение не скрывали – не столько благословенной праведницей, сколько наказанием Божьим.

Вот и теперь никто из попутчиков не наклонился к ней, ни одна сострадательная душа не подала фляги с водой, ни единый жалостливый человек не придержал ее ослика. Напротив, зловредный Вивьен еще и шуганул глупую скотину, ускакавшую в густые придорожные заросли ядовитой клещевины. Торопившиеся к Господу люди с отвращением наблюдали за припадочной и обменивались раздраженными замечаниями:

– Ну вот, опять полоумная за свое принялась! Сколько можно! Еще неизвестно, кто ее так корчит! Шарлатанка бесстыжая! Может, это и вовсе бес в ней.

Констанция послала к страстотерпице Ибрагима, но едва магометанин приблизился к Марго, та начала задыхаться и биться в судорогах. Ибн Хафез струсил, отошел. Опасно мусульманину иметь дело с поселившимся в латинянке джинном. Постепенно вопли перешли в неразборчивые стенания, бедняжка уgomонилась, сержант-тамплиер выловил ей ослика, и нетерпеливые пилигримы, продолжая проклинать рехнувшуюся бабку, возобновили путь туда, где Спаситель принял смертные муки за грешных и слабых. Изабо с обидой заметила:

– Со мной Иисус Христос почему-то не беседует.

Констанция то же самое подумала, но, как всегда, стоило мадам де Бретолио высказать их общую мысль вслух, тут же суждение оказывалось нелепым.

– Он даже со мной не беседует, с тобой-то Ему с какой стати?

– Мне есть, о чем спросить Его, – ответила та, и Констанции словно шип в грудь вонзился: скончавшиеся младенцы Изабо, боже!

– Святая или больная эта Марго, а лучшего пробного камня для милосердия ближних не найти, – хихикнул Вивьен. – Была бы их воля, бесноватая давно вкусила бы истинного мученичества!

Сплетник с нескрываемым удовольствием пересказал княгине жалобы паломников. Еще в Туре странница сообщила окружающим, что слышит райскую музыку и ей является Иисус Христос, и подробно излагала дарованные ей видения. Эту милость небес, оказанную почему-то невежественной, грубой и простой женщине, богомольцы восприняли с вполне понятной обидой. Не то чтобы они были безжалостными и злыми людьми. Как раз наоборот! Намного достойнее и уважаемее этой тронутой деревенщины Марго, но с ними Спаситель мира почему-то не заговаривал, хоть падре и Господь ведали, что каждый из них – честный бюргер славного города Тура и примерный христианин. Мало того, блаженная молилась с такими криками и стенаниями, что невольно возникало сомнение – а не Сатана ли овладел ею? С какой бы стати поправший смерть Сын Божий снизошел до косматой, вонючей и вредной старушенции, которой брезговали все почтенные люди?

Но мало того, вскоре алчущая святости припадочная принялась искоренять в своих попутчиках их слабости и пороки и неотступно требовать от окружающих покаяния и исправления. Тут уж даже самые кроткие возненавидели старую ведьму.

Первый раз пилигримы пробовали избавиться от блажной в Орлеане: сговорившись, ранним утром удрали с постоялого двора, но к ночи карга настигла их Господним возмездием. В предгорьях Альп сердца паломников окончательно ожесточились, и они выгнали кликушу взашей, но благодаря нанятому проводнику и помощи нечистой силы неукротимая Марго умудрилась, неведомо какими лишениями и усилиями, перебраться через перевал Мон-Сени и, к отчаянию путешественников, нагнала их в Турине. В Венеции озлобленные французы, изнемогшие от ее нескончаемых видений и нестерпимого нрава, намеренно упустили несколько кораблей, дожидаясь отплытия юродивой. Но не так-то просто оказалось всеми брошенной, слабой и полоумной собеседнице Агнца Божьего разжиться скарбом, необходимым для дальнего плавания и раздобыть себе местечко на борту. Наконец Марго все же выклянчила уголок на подходящем суденышке. Изнывавшие богомольцы вознесли благодарственные молитвы и поспешно зафрахтовали другой корабль. Пусть плывет себе хоть со всем ангельским чином, главное, чтоб без них.

Однако едва пилигримы обустроились, как из очередной беседы с Христом Марго достоверно узнала, что их галера непременно затонет. Ну что оставалось беззащитным перед морской стихией путникам?! Скрежеща зубами и проклиная навязанную Провидением ясно-видящую, путешественники, сопровождаемые сердечными напутствиями покинутого капитана, перетаскивали свои матрасы и клетки с курами на корабль ненавистной духовидицы.

– Долгое плавание со старой каргой в тесном трюме любви к ней не прибавило, – показывался от смеха Вивьен.

Констанция сама с трудом удерживалась от улыбки, но все же заступилась за бедняжку:

– Несчастливая за свое благочестие терпит.

Изабо возмутилась:

– Не просто терпит, а намеренно алчет страданий! Святоша надеется купить себе ими Царствие Небесное!

В том, что никакая Марго не провидица, а злобная притворщица, мадам де Бретолио убедилась, когда та напрямик высказала ей свое и Иисуса Христа мнение о женщинах, которые даже на богомолье выглядят блудницами вавилонскими. Тут, конечно, Марго судила суровее Исайи и Иеремии, но Изабо и впрямь, даже в темном плаще и под капюшоном, умудрялась вызывать у мужчин греховные мысли. Что-то в ней было неотразимое для мужского сладострастия, Констанции оставалось только жалеть подругу.

– Не старушенция мученица, а те, кому приходится рядом с ней ехать, – скривил хорошенькую мордашку Вивьен.

– Мы терпим, а в праведницы она лезет! – поддакнула Изабо.

Действительно, Марго носила власяницу и не мылась. Возможно, так она больше нравилась ее создателю, но остальным приходилось туго. Корабль паломников, как назло, долго мотало по осеннему морю, и с утрени до комплетория кликуша неумоимо обличала пороки соседей по трюму и расписывала предстоящие им загробные кары. К концу пути эти добрые люди, предпринявшие ради спасения своей души тяжелое, дорогостоящее и опасное путешествие в Град Небесный, безнадежно погрязли в ненависти к безупречной праведнице.

Но гаже всех вел себя Вивьен. Улучив момент, подбирался к ослику Марго и, напирая конем на скотинку, сталкивал его с узкой тропинки. Наездница вцеплялась в шею животного и визгливо ругалась, а проказник гоготал во все горло. Один раз старуха таки полетела кубарем в канаву. Довольный паж с невинным видом проехал мимо недвижно валявшейся в пыли женщины, и все кающиеся невозмутимо протрусили вслед за ним. Только молоденький сержант-тамплиер подоспел к упавшей быстрее Констанции. Бедняжка оказалась цела, хоть Бог ее знает, в чем там душа держалась: сквозь растрепанные жидкие космы просвечивала серая кожа головы, морщинистую шею изранила грубая власяница, босые ноги в кровь стерлись о колючие ослиные бока. На сей раз Марго уже не жаловалась и не ругалась, только плакала, утирая злые слезы трясущимися, тощими, как мощи, руками. Констанцию пронзила невыносимая жалость. Но старуха оказалась неисправимой упрямницей: едва сержант взгромоздил ее обратно на ослика, как Марго вновь разразилась угрозами и проклятиями.

– Еще раз привяжешься к святой женщине, пойдешь пешком обратно в Яффу, так и знай, – припугнула Констанция Вивьена.

– Ничего себе святая! Святые разве так сквернословят? – возмутился негодник.

Изабо передернула плечами:

– Это она от страха и бессилия бесится. Чем еще такой былинке защититься? От обиды на людей и возомнила, что с ней Иисус беседует. Без этого кто бы на нее вообще внимание обратил?

– Хвала Господу, что она бессильна, не то нам всем бы круто пришлось, – обиженно огрызнулся валет.

Констанция не знала, кому верить: люди так презирали и обижали Марго, что Христос вполне мог пожалеть и утешить блажную. Княгиня даже попросила провидицу замолвить за нее доброе слово перед заступником рода человеческого на тот случай, если Господь все еще вменяет ей в вину гибель Пуатье и провал крестового похода Людовика VII. Грануш и Изабо отмахивались от ее покаяний, да и отец Мартин, и сам его высокопреосвященство единогласно уверяли, что все грехи княгини давно замолены и отпущены, но хотелось бы услышать подтверждения прямиком от собеседницы Вседержителя. Ведь даже патриарху Лиможскому Спаситель не являлся, не говоря уж о Констанции, хотя она была не только страждущей, крайне нуждавшейся в Его попечении, но и властительницей Антиохии.

С трепетом ждала ответа благочестивой женщины, в глубине души не сомневаясь в подтверждении небесного милосердия: ведь кто, как не Констанция, защищал ясновидящую от поганца Вивьена?! Старуха долго жевала впавшим ртом, словно слова утешения предварительно приходилось смягчить, наконец выплюнула:

– Искала бы ты, княгиня, себе прощения, так не за женихом бы к королевскому двору мчалась, а в монастырь бы постриглась.

Несуразные слова неблагодарной Марго вонзились в Констанцию пригоршней колкого щекбня. Она выпрямилась в седле:

– Что ты знаешь об обязанностях и предназначении властительницы Антиохии?! Это тебе всего-то и печали, что о покаянии заботиться, а на мне – долг правительницы. Бог избрал мне мое место. Он мне уделом не монашеский затвор предоставил, а трон Антиохии, и у меня нет права скинуть эту ношу. Я поклялась об Утремере заботиться, спасти от сара-

цин Землю Воплощения Христова, а не литании распевать! О нас, тех, кто защищает Его Гроб, Его Святую Землю, Всевышний сам молится!

Дернула поводьями так, что Каприза всхрапнула, но от Марго-репейника не отцепишься, старуха босыми пятками пинала брюхо ослика и неотвязно шипела сзади:

– Думаешь, Господь тебе за твои заботы обязан? Воображаешь себя сторожем на башнях его? А сама кого задумала посадить на престол града апостола Петра, святого Игнатия и святого Андрея? В женихи тебе жестокий, неразумный и неистовый!

Констанция испугалась. Старуха, конечно, умалишенная, но вдруг она все-таки видит будущее? Обычным людям откровений не бывает, именно юродивые и пророчат истину. Изабо вклинилась на своей лошадке между княгиней и Марго:

– Не обращайтесь внимания, ваша светлость. Полоумная считает, один Иисус Христос женщинам в женихи годен.

Нет, Христос в князя Антиохии никак не годился. И если княгиня задумает снова выйти замуж, она выберет только самого достойного претендента, способного защитить ее княжество и весь Утремер. Достаточно она совершила тяжких и неисправимых ошибок. Твердое решение успокоило смятенную душу, но больше Констанция не просила полоумную бабку посредничать между собой и небесами.

Копыта Капризы мерно ступали по выбитой в известняке тропинке, скрипела подпруга, свистели пичуги в ветвях смоковниц и сикомор.

– Изабо, а ведь Дева Мария с младенцем этим же путем ехала, эти же холмы рассматривала, даже ослик ее о те же камни спотыкался!

– Да, – Изабо растроганно вздохнула всей грудью. – Навоз здесь, и тот свежий.

Впереди бок о бок скакали Вивьен и сержант тамплиеров, тот, который заботился о Марго. Сержант запальчиво объяснял пажу звонким мальчишеским голосом:

– Бедный рыцарь Христа и Соломонова Храма не отступает от боя, если врагов меньше, чем трое на одного!

Вивьен не решился бы даже с одиноким вилланом сразиться, но болтать – не драться, пустомеля охотно принялся поддевать юношу:

– А я в монахи не гоюсь. Мне и бедность с послушанием плохо даются, а уж с целомудрием я точно не в ладах!

Констанция смутилась и разозлилась. Она-то считала шалопая милым, невинным и безобидным забиякой, робко и нежно поклоняющимся ей, своей госпоже! Ерошила ему волосы, по щеке трепала! Сержанту, кажется, развязность собеседника тоже не понравилась, он сухо ответил:

– Вы, светское рыцарство, погрязли в пороках.

– В каких это пороках мы погрязли? – умолчал лгун бесстыжий, что в рыцари годился еще меньше, чем в монахи. Но в пороках погряз, это верно. В Антиохии паршивец слезно жаловался княгине на безденежье, упросил госпожу взять на себя его путевые расходы, а теперь на его бедре позвякивал кошель-омоньер, неотличимый от того, из которого платил таможеннику кордовский еврей. – Это вы, тамплиеры, дали обет нищеты, а сами накопили несметные богатства и не признаете над собой ни власти короля, ни архиепископов! Всем известно, что ваш орден зазывает в свои ряды убийц и даже отлученных от церкви грешников!

Сержант отмалчивался, ничего нового в этих обвинениях не было, но его молчание только раззадорило ехидного Вивьена:

– А признайся, почему вам, монахам, велено спать одетыми, обутыми и с поясом, а в dormitorioх до утра должны гореть светильники? Что, в темноте дьявол сильнее, а?

Тамплиер не выдержал:

– Я проучу тебя, щенок, как оскорблять храмовников!

Ударом кулака сбросил вала с седла на землю, сам спрыгнул с коня и, вытащив меч из ножен, двинулся на пажу. Вивьен завизжал, метнулся за чужие спины, сержант погнался за ним, размахивая оружием. Процессия застопорилась, все с криками бросились врассыпную.

Разметая толпу, в облаке белой мантии с красными крестами к драчунам неся на огромном дестриэ сенешаль ордена тамплиеров Андре де Монбар. Рывкнул:

– Симон Ришар! – Сержант, словно очнувшись, тут же замер. – Брось меч, ты недостойн его!

Ришар беспрекословно подчинился. Монбар сдернул с луки седла веревку, завязал на ее конце петлю и двинул своего скакуна на пятящегося Симона.

– Остановитесь! Прошу вас, остановитесь! – Грозный вид рыцаря испугал Констанцию. – Сенешаль, сержант не виноват, клянусь вам. Я своими ушами слышала, как мой вала подначивал его. Сержант только вступился за честь ордена!

Тамплиер даже не глянул на женщину, не полагалось ему. Нагнулся с седла к Симону, подхватил за ворот и поволол покорного, как тряпичная кукла, юношу к раскидистому дубу. Паломники растерянно взирали на готовящуюся казнь, братья ордена оставались невозмутимыми, одна лишь Изабо пронзительно визжала, но даже это не останавливало сенешаля. Констанция беспомощно огляделась:

– Вивьен, а ну признавайся, как было!

Бессовестный трус только жалко сморщился и спрятался в толпе. А Андре де Монбар уже столкнул беднягу с петлей на шее в дорожную пыль и перекинул веревку через огромную ветвь. Не раздумывая, Констанция прищепила Капризу и вклинилась между палачом и жертвой. Дестриэ храмовника захрапел, попятился перед гарцевавшей кобылой, но с каждым его шагом веревка натягивалась все туже, приподнимая над землей барахтающегося, вцепившегося обеими руками в петлю, хрипящего Симона. Еще пара шагов – и юноша повиснет в воздухе. От воплей Изабо застлало уши.

Послышался дробный конский топот, толпа расступилась как Черное море, и из нее, сотрясая землю, вылетел грузный рыцарь. Он выхватил меч и одним махом перерубил натянутую веревку. Симон рухнул на землю, покатился по склону, поспешно уполз в густые заросли мирта и лавра. Возмущенный сенешаль крикнул, занес меч, но перед ним еще мешкала Каприза со своей растерянной, испуганной всадницей. Отъехать Констанция уже не успевала, она только невольно прикрылась руками от ужасного лезвия сенешаля. Меч в последний миг замер над ее головой, описал полукруг и медленно, неохотно вернулся в ножны на бедре хозяина. Тамплиер с презрительной усмешкой оглядел заступницу, повернул жеребца и, не обращая больше ни на кого внимания, вернулся на свое место в арьергарде процессии. Констанция лепетала вслед какие-то оправдания, но Андре де Монбар даже не обернулся.

Оцепеневшие зеваки с облегчением зататорили, принялись пересказывать друг другу только что случившееся. Истошно запричитала Марго, не любившая терять всеобщее внимание. Изабо приосанилась, наградила неведомого смелого спасителя милостивой улыбкой:

– Шевалье, вы восхитили нас!

Рыцарь поспешно сорвал шлем с подшлемником, на солнце засверкала бритая башка д'Огиля:

– Ваша светлость, клянусь на завязках своей обуви, ради вас и мадам де Бретолио Бартоломео дракону шею перерубит, не только пеньковую веревку! Ха-ха!

Изабо сморщилась, словно кислого молока хлебнула. Забытый всеми Симон вскарабкался на своего коня и, опустив голову, вернулся в ряды сержантов. А Вивьен, негодяй, при-

смирел ненадолго: не прошло и часа, и до Констанции опять донесся его самодовольный дискант, вновь самозабвенно плетущий хвастливые враки.

В шестидесяти стадиях от Иерусалима, в глубине долины меж тремя холмами, в Эммаусе, месте встречи Христа с апостолами, передохнули, испили воды из целебного источника в крипте недавно возведенного бенедиктинского храма. Византийские мастера еще расписывали стены базилики фресками, свежие краски сияли золотом, охрой, ультрамарином, суриком и лазуритом. Миновали последнюю охраняющую дорогу крепость – построенную Фульком Аква Беллу, возвышающуюся над дубами и фисташковыми деревьями. Утихли разговоры, путники устало тряслись в седлах, с нетерпением ожидая конца путешествия, сулившего встречу с Божественным и избавление от несносной Марго. Ломило спину, затекли ноги. Лошадь, с усилием взбиравшаяся на холм из глубокой лощины – шаг, еще шаг, – прятала уши и фыркала, Констанция не выдержала, дала шенкеля, Каприза вскинула морду, заржала и рысью вынесла на гребень холма.

И внезапный вид Града Мученичества выдернул душу из житейских сует, как ветер вырывает платок из рук, и вознес, трепещущую, смятенную и потрясенную, в небесную высь.

Под кобальтовыми небесами, обрамленный пыльной дымкой сиреневых, бежевых, пепельных, лиловых и янтарных холмов, покоился в теплых вечерних лучах золотой Иерусалим, похожий на выцветший, но дивный и бесценный гобелен.

Пуп Земли, Сердце Мира, зеница ока каждого христианина мог уместиться в ладнях. В светло-песчаных стенах, окруженных широким рвом, виднелись ворота Давида, дивные и манящие, подобные райским. Над ними возвышалась высоченная квадратная Башня Давида, знакомая с королевских монет, справа – гигантская Башня Танкреда. А внутри стен овцами в загоне теснились дома из желтого известняка с террасами, с плоскими крышами или сводчатыми кровлями, возносились колокольни, и три серебристых купола невообразимых размеров цепляли к небу город, избранный Господом для пребывания там имени Его.

Так с Монт Жуа – Горы Радости – полвека назад впервые увидели место страстей Христовых Готфрид Бульонский, Сен-Жиль Тулузский и Танкред Тарентский. Волнение паломников передалось даже привычным к виду Святого Города тамплиерам.

Констанция на коленях твердила «Te Deum», и каждое слово обретало новый, незамутненный привычкой смысл. Рядом взволнованно сопела Изабо, предавалась очередному взрыву безумия Марго. Смотри, Марго, смотри и знай, что если бы недостойные и порочные жители Заморья замаливали по монастырям свои грехи вместо того, чтобы защищать эту землю, то не только Гроб Спасителя по-прежнему пребывал бы в руках язычников, но и Тур твой, Марго, да и вся прочая милая Франция с королевой вашей, к рождению сыновей неспособной, уже оказались бы под пятой ненасытных сарацин! Но не время сводить счеты со злобной старухой, когда сердце переполнено умилением и гордостью за франков. Чудеса свершаются и ради неблагодарных.

Ибн Хафез и тот поспешно скрючился на моленном коврике.

– Ибрагим, я вижу, даже магометане принуждены поклоняться Иерусалиму!

– Ваша сиятельность, одна молитва в Аль-Кудсе стоит тысячи молитв, совершенных в других местах, и каждый, служащий Аллаху, обязан посетить его святыни! Вот тот самый большой купол – это Масджид Куббат ас-Сахра. Сейчас он покрыт свинцом, но в лучшие... я хотел сказать, в прежние времена он был из позолоченной латуни и сверкал так, что глазам было больно. Он возведен над скалой, с которой Мухаммед, Господин Пророков, мир Ему и благословение Аллаха, поднялся на небо. А тот, серебряный, поодаль, – это Масджид Аль-Акса, куда благословенный Аллахом Пророк перенесся из Мекки.

– Все ваши молитвы и дольки чеснока не стоят! И вознесение это придумано вами, лишь бы оправдать захват Иерусалима! – грубо оборвал его Андре де Монбар. – На этом

месте еще царь Соломон Храм построил, и со времен Юстиниана Базилика Непорочной Богородицы стояла до тех пор, пока ваши халифы вместо нее мечеть не построили! Купол справа – это возведенный королевой Мелисендой на месте Голгофы Храм Вознесения Господня, вон тот огромный – церковь августинцев Темплум Домини, а за ним – Темплум Соломонис, теперь это дворец нашего ордена. Басурмане от этих храмов даже тень не получают.

Ибрагим промокнул глаза рукавом:

– Да, ныне в нашей святыне конюшни храмовников.

Заблудшая, обреченная душа ибн Хафеза!

– В Мекке и Медине ваши святыни, – отрезал суровый рыцарь Христа. – Сами-то туда христиан под страхом смерти не пускаете. А Град Искупления навеки наш. Не нужно Иерусалиму почитание обрезанных собак. Чем больше этого почитания, тем больше крови за него прольется.

У ворот Давида располагались стояла и таможня. На склоне холма, по которому ступал Искупитель рода человеческого, глупые козы звенели колокольчиками и щипали траву, нахально растущую из благословенной земли. Босоногий мальчишка кидал в коз камешки. Как ни в чем не бывало лаяла самая обычная собака. Иерусалим был подобен Писанию – Благая Весть потрясала и спасала душу, и вместе с тем город был прост и обыден, как просты и обыденны пергамент и чернила, увековечивающие Божественную истину. Все в этом святом месте оказалось до смущения земным и похожим на знакомое с детства. Так, наверное, праведник озирает рай.

В Храме Воскресения Констанция опустила колени на холодный мрамор, закрывавший усыпальницу Господа, и, не смея взглянуть ввысь, замирая от ожидания чуда, воззвала:

– Господи, это раба Твоя, Констанция, дочь погибшего ради Тебя Боэмунда Антиохийского, внука славного короля Иерусалима Бодуэна II, супруга Раймонда де Пуатье, отдавшего за Тебя жизнь...

Но слышался только надтреснутый голос Марго, а потом и ее причитания заглушило прекрасное многоголосие греческого хора. Когда крестоносцы отвоевали Иерусалим, первым делом они, конечно, восстановили единственно истинную веру и забрали у греческих схизматиков ключи от усыпальницы Господа, но в тот же год проискавшими византийских попов на Пасху не снизошел Благодатный огонь, и пришлось уступить коварным ромеям алтарь в соборе. А армянам и яковитам достались старые часовни на западной стороне южного двора. Оставалось надеяться, что Бог сам смотрит и судит: кто – правоверные латиняне, а кто – еретики, искажившие символ веры и отрицающие примат римского понтифика.

Паломники возложили свой крест на Голгофу поверх груды прочих крестов. Княгиня старательно облобызала все алтари под несметными лампадами, обошла все часовни, помолвилась у огромной серебряной статуи Иисуса Христа, у Животворящего Креста, прочитала семь покаянных псалмов у камня, преданно хранившего капли крови Спасителя, спустилась в крипту Святой Елены и туда, где равноапостольная нашла Животворящий Крест. Не было на земле места, более приближенного к раю, чем эта темная, пахнущая плесенью часовня. Помолвившись здесь, Констанция была прощена и спасена. Сквозь горе потерь и прозябание последних лет светлым родником пробилась и потекла надежда.

Досаждало лишь, что сладчайший Иисус по-прежнему отвечал лишь настырной Марго. Впрочем, Констанция не упрекала Спасителя. Никому на свете эта одинокая старуха не была нужна, не мог же и Он покинуть ее.

На стенах, полу и даже на новых мозаиках блестели свежие царапины – выбитые кресты, даты, имена, гербы паломников. По просьбе княгини Бартоломео отколол от гробницы Спасителя малюсенький осколочек, а на портале собора старательно выскоблил кинжалом

герб Антиохии. Теперь Констанция навеки под охраной реликвий, а память о ее паломничестве пребудет высеченной в камне во веки веков.

При королевском дворе вдову убиенного мученика князя Антиохийского принимали как царственную особу. Бароны Утремера – от всесильного коннетабля Менассе д'Иержа до многочисленных и горластых, как бедуинское племя, Ибелинов – предпочли забыть прошлую размолвку с павшим геройской смертью Пуатье. В честь княгини Антиохии устраивали пиры и турниры, ее сажали вровень с королевской семьей, дамы наперебой сочувствовали молодой вдове, матери трех сирот. Многих из присутствующих Констанция знала: кого-то помнила еще по встрече в Акре, кто-то гостил или служил в княжестве, некоторые, как шевалье Рейнальд де Шатильон, прибыли в Антиохию вместе с Людовиком и остались на Земле Воплощения, следуя примеру отказавшегося сойти с Креста Спасителя.

Констанции не терпелось увидеть претендентов на свою руку, но от вида первого из них, графа Суассонского, по общему мнению – весьма достойного барона, застыдилась своих глупых мечтаний. Граф пожирал ее выпученными глазами и осаждал владетельную наследницу по всем правилам куртуазной науки. Только Констанции было бы легче перейти на плесневелый хлеб после нектара и амброзии, нежели после красавца Пуатье лечь в постель с жабой-Суассоном. Кузену Бодуэну и тетке Мелисенде пришлось бы волочь ее к венцу связанной.

Впрочем, Суассон оказался далеко не единственным воздыхателем. Многие безземельные бароны намеревались попытать счастья на матримониальном ристалище и при приближении Констанции вскидывались, словно боевой конь при звуке рожка. Рыцари наперегонки бросались угождать ей и пели безудержные дифирамбы внезапно обнаруженным достоинствам властительницы Антиохии. Так, наверное, постоянно чувствовала себя Алиенор, но Констанция – впервые. Даже вокруг развязной Агнес де Куртене столько ухажеров не толпилось. Хотя толстый семнадцатилетний Амальрик, граф Яффы и Аскалона, младший брат короля, не отходил от рыжеволосой красавицы и смотрел на нее с таким обожанием, что людям неловко становилось.

А вот Рейнальд де Шатильон нежными признаниями не преследовал, не вздыхал, кубка за Констанцию не поднимал, цветов и подарков не дарил, отвечал нехотя и нравиться не старался. Но именно его она невольно искала взглядом. Не одна она. Многие дамы в присутствии светлогоглазого, надменного красавца с ямкой на подбородке, с густыми темными бровями и хрипловатым голосом, краснели, сбивались и глупо хихикали. Но Шатильон вел себя с прелестницами равнодушно, а они одновременно и побаивались его, и жалели, и восхищались им. Констанция с досадой заметила, что рядом с шевалье и сама старалась вытянуться, казаться выше и стройнее. К месту и не к месту смеялась грудным смехом, тайком оглядываясь на него, часто меняла наряды и обильно душилась соблазнительным аравийским ароматом. Он привлекал не только неотразимым обликом, он казался загадочным и необычным: то мрачным, то отчаянно веселым, и даже когда держал себя невозмутимо, спокойствие его было спокойствием натянутого до отказа лука, вставшего на дыбы жеребца, рвущего причальный канат корабля. До боли хотелось, чтобы, дав себе волю, он полетел именно к ней.

Однако просить Шатильона сопровождать ее по святым местам она бы никогда не решилась. Это уж шальная Изабо подстроила. С тех пор, как король начал благоволить к мадам де Бретолио, неугомонная вертихвостка похорошела, помолодела, и фонтан ее жизнелюбия вновь забил до небес. Впрочем, Констанция больше не корила ее, горбатого могила исправит.

За полвека владения Иерусалимом латиняне восстановили все разрушенные неверными святыни. На гигантский купол Темплум Домини водрузили крест и превратили его в церковь августинцев. Огромную скалу внутри, ту самую, на которой Иакову приснилась соединяющая землю и небеса лестница с ангелами, облицевали мраморными плитами и ого-

родили железной кованой решеткой, а у входа воздвигли алтарь. Правда, мраморные стены по-прежнему украшали голубые мозаики с вьющимися по ним листовыми орнаментами и золотые и серебряные надписи, похожие на корабельные рей в бушующем море. Некоторые шептали, что это чуть ли не оставшиеся от халифов сунны Корана, некоторые утверждали, что здание было построено византийцами, а люди знающие доказывали, что этот прекрасный храм и был остатками разрушенного халдеями Храма Иерусалимского. Одно было несомненно – Святилище Господне находилось именно тут.

Тем не менее, Соломоновым Храмом прозывался соседний дворец, тоже с серебряным куполом. До недавнего времени он служил королевской резиденцией, а ныне его занимали тамплиеры, оттого прозванные бедными рыцарями Христа и Соломонова Храма. Царь Соломон построил под зданием необозримые конюшни, в которых арочные своды поддерживали столбы из гигантских камней. В них храмовники держали тысячи боевых коней. А в самом помещении, весьма обветшалом, хранили оружие, одежду, еду, запасы зерна. Нашлось внутри место и церкви, и солярию, и термам. Знатным гостям-сарацинам позволяли молиться в отведенном для них приделе, хоть это и возмущало порой пилигримов, не ведавших терпимых обычаев Заморья.

С орденом храмовников соперничали братья-монахи ордена госпитальеров, они же иоанниты. В огромной зале их лазарета могли уместиться две тысячи страждущих. Даже Ибрагим поразился, узнав, что четыре доктора два раза в день обходили всех пациентов, и каждый из больных имел не только чистую простыню, но и сапоги – дойти до отхожего места, а роженицам выдавали колыбели, чтобы ни одна из них не заспала дитя. Констанция пожертвовала госпиталю две тысячи локтей полотна.

Каждый день сострадательные братья-госпитальеры кормили также две тысячи бедняков, прислуживая недужным с ревностностью и преданностью, словно знатным людям. Заботились они и о беспризорных детях, которых в Иерусалиме было больше, чем ангелов в раю. Сравниться с ними в самоотверженности мог лишь орден святого Лазаря, ухаживающий за прокаженными в лепрозории за воротами святого Стефана.

Ордена рыцарей-монахов, воплощавшие воинствующее милосердие христианства, достигли в Заморье невиданной мощи: одни лишь госпитальеры владели в Латинском королевстве семью крепостями и ста сорока поселениями. Но прав был Вивьен, обвиняя братьев в непослушании архиепископам: и тамплиеры, и госпитальеры признавали только капитулы собственных орденов да папу римского, а с патриархом Иерусалима Фульхерием Ангулемским не ладили. Стоило святому отцу начать проповедь в соседнем Храме Воскресения Христа, иоанниты принимались оглушительно бить в свои колокола. До того дошла вражда, что однажды они ворвались в Усыпальницу Господню и стреляли в ней из луков, уподобившись Навуходоносору, разрушителю Храма Соломонова.

Тесно застроился Иерусалим, замкнутый в двойные стены с башнями над пятью главными воротами и со множеством бастионов. Тридцать тысяч жителей обретало в Святом Городе, вдвое больше, чем в Акре или Тире, и каждый нашел себе место. Глухие каменные ограды монастырей тонули в тени скорбных кипарисов и разметававшихся крон угрюмых сосен, узкие, кривые, карабкающиеся вверх и скользящие вниз улочки, по которым не могла проехать телега, куда никогда не падал луч света, где в жаркий полдень пробирал озноб и звонкое эхо шагов металось меж сплошных стен, выводили на раскаленные, слепящие паперти. Из темноты соборных дверей выплескивались гулкие молебны, текли благовония и ладанный дым, оглушал колокольный звон и перегуд молитв пяти дюжин иерусалимских церквей, базилик и часовен. Их до отказа заполняли паломники из всех уголков Европы, отличавшиеся от суетного городского люда просветленными, растроганными лицами. Коленопреклоненные странники с умилением разглядывали знакомые по Писанию места и слу-

шали толкования проводников и драгоманов, пояснявших увиденное на родных им наречиях.

Копейщикам княгини приходилось щитами расталкивать любопытных. Городская толпа приветствовала вдову героя, погибшего в бою с сарацинами, женщины крестили бедняжку, старухи утирали глаза. Констанция велела Вивьену одаривать нищих, и вскоре княжеский кортеж сопровождали все убогие столицы.

Констанция молилась в армянском монастыре рядом с резиденцией Первосвященника Каиафы, дивилась на дворцы Ирода и Пилата, по дороге на Масличную гору пила из источника, в котором сладчайшая Дева Мария стирала пеленки божественного младенца, умывалась из Силоамской купели той же водой, которой Иисус врачевал больных, отдыхала под оливами, в тени которых сидел Спаситель. Повторяя псалмы, брела по Его следам в Гефсиманию, лила горькие слезы на Виа Долоросе, целовала следы Господа, благоговейно касалась капель Его крови на камнях, и душа ее облегчалась нестерпимым состраданием и любовью.

На Сионской горе, у Храма Последней Вечери, бродили, как одиннадцать веков назад, куры и петухи. Под деревом Иуды Искарота даже трава не росла, и Констанция обошла его широким кругом, а бесшабашный Шатильон невозмутимо топтал корневища копытами своего Баярда, и голые ветви задевали его по голове и плечам.

Королева Мелисенда успела понастроить в Иерусалиме более царя Соломона. Храм Воскресения Христова из руин превратила в самый прекрасный собор Латинского Востока, возвела великолепную базилику святой Анны. Недавно достроенный королевский дворец украшали мраморные портики, стены покрывали навощенные фрески, в садах росли апельсиновые и гранатовые деревья, пальмы и мирты, журчали фонтаны. Дочь армянской принцессы, Мелисенда покровительствовала возведению нового армянского кафедрального собора святого Иакова, благоволила к яковитам, даже греческое аббатство святого Сабы одарила деньгами и землей, потому что худший из христиан предпочтительнее лучших из басурман, а в королевстве и от худших из басурман не удалось избавиться. По соседству с Башней Давида ютились даже две сотни евреев, единственных из их недостойного племени, которым было дозволено проживать в Граде Христовом. Король отдал им на откуп красивый дом, и никому другому не разрешалось в Иерусалиме заниматься крашением тканей. Ибрагим разузнал у них, что знакомый ему еврей Иегуда Галеви до Иерушалаима все же добрел, но едва принялся лобызать камни, как его затоптал насмерть сарацинский всадник. Таков, значит, был ответ Господа на безумные чаяния этого обреченного народа возвратиться в Сион.

Три рынка выстроила Мелисенда в Иерусалиме, на самом большом из них, крытом, только хлебных лавок имелось три дюжины и бесконечно тянулись ряды рыбников и мясников. Вокруг Храма Воскрешения Господня торговали золотых дел мастера, в Патриаршем квартале, рядом с Церковью святого Георгия, вонял и шумел свиной рынок, у ворот Давида продавали зерно и скотину. Под портиками у скобяных, суконных, оружейных и ювелирных лавок громоздились тюки тканей, связки свечей, башни кастрюль, ковры, сундуки, кальяны, седла, клетки с птицами. В узких переулках отвешивали снадобья, липкие смолы, гашиш, ладан, амбру, экстракты растений и цветов; отсыпали толченые в труху мумии, сушеных скарабеев и целебные красные камни киновари; цедили драконью кровь и аравийские благовония.

Взметали пыль босые ноги августинцев, мелькали темные одеяния бенедиктинок, сверкали на солнце белые клобуки картезианцев, отбрасывали мрачную тень черные скапулярии цистерцианцев. Повсюду толпились и толкались яковиты, абиссинцы, грузины, марониты, сирийцы – люди всех цветов, настолько странные видом, что брало сомнение: да люди ли они?

Прямо на прохожих с пронзительными воплями «Посторонись! Дирбаллак!» катили громыхающие тачки мальчишки-подмастерья. Короткобородый сириец в пестром халате оттаскивал в сторону груженного корзинками с виноградом ослика, прижимались к стенам замотанные в чадру бедуинки с узлами на головах, не уступала дороги франкская дама с открытым дерзким взглядом лицом, слал вослед ругательства гладко выбритый рыцарь. Спешили по крытому Кардо худые бородатые греки в длинных далматиках со свертками рукописей под мышками, брел еретик-копт, смахивающий на ходячую мумию в белом хлопковом одеянии. Чернокожие лоснящиеся рабы-суданцы вели верблюда, принадлежащего жирному египетскому купцу в ярких шелках. Заносчивый всадник-тамплиер в белой мантии с алым крестом раздвигал толпу грудью жеребца. Тесные проходы загораживали менялы и нищие; зывал голодных паломников разносчик, щедро посыпая пряным заатаром хрустящие, выпеченные в виде обода иерусалимские булки; на улице, торговавшей готовыми обедами, стоял чад от вращающихся на вертелах кусков баранины, шипела на углях мешанина куриных почек, пупков и сердец. Тошнотворная вонь рыбьего жира и тухлой требухи в полной мере оправдывала название места: Малькисин – Скверная кухня.

Иерусалим оказался схож со смертным человеком: в нем таилась божественная душа и его обременяло грешное тело. Небесный Иерусалим был городом из откровений Иоанна, обителью Господней – Вратами Небесного царства на Земле, со стенами, украшенными драгоценными камнями, с жемчужными воротами, с мощенными золотом и серебром улицами, где не было нужды ни в солнце, ни в луне, потому что его освещала Господня слава, в нем текла жизненная влага и цвело Древо Жизни.

Но земной Иерусалим, столица Латинского королевства, кишел грязью и пороками. В граде откровений и упований, как в любом другом, в узких переулках неосторожных прохожих поджидали грабители, постыдные вертепы завлекали развратников, простаков облапошивали мошенники и обчищали воришки, побирались нищие, хватали за полу покрытые коростой и паршой калеки, обнажались продажные девки, слышались грубые крики и ругань. Даже Пуп Земли не мог существовать без бочаров, портных и стекольщиков, без корзин, подков и гвоздей, как не мог мир Господень устоять без суровых рыцарей.

В воздухе роились осенние мухи, над узкими улицами и тесными рыночными рядами витал смрад, сновали злые бродячие псы, рыскали по грудам мусора тощие, наглые коты, по мощеным мостовым из лавок кожевенников и мыловаров стекали вонючие потоки, выплескивались помои, которым некуда было деваться, потому что не было тут ни моря, ни быстроводной реки.

Но больше воды жаждала Констанция бесценных реликвий.

Сколько бы денье не просили за волос святой Варвары или за каплю молока Богородицы, княгиня платила, не торгуясь. Разумеется, приобретала лишь те священные предметы, истинность которых была заверена сертификатом патриархата. Торговля поддельными мощами стала для многих мошенников настолько доходным промыслом, что сложить бы все щепки от Животворящего Креста – корабль бы получился, а то и целый флот. С каждым днем склад подлинных реликвий в покоях Констанции становился все выше. В Антиохии бесценные останки обретут достойное место в раках замковой часовни, а молоко Богородицы Констанция, как полагается, разведет водой и напоит им своих крошек.

На слепящем солнце Иерусалима выдохлась вдовья тоска, святые места врачевали сердце, каждый день нес радость и исцеление души, упоение и незабываемое счастье соприкосновения с божественным. Новые впечатления и люди окончательно застили прошлое, а войны севера стали казаться далекими и невзаправдашными, как зимние дожди летом. Констанция оглядывалась на следовавшего за ней шевалье Шатильона, и ей хотелось пустить Капризу вскачь.

У Сионских ворот Констанции нагло поклонился и что-то прокричал подвыпивший солдат, и тотчас Рейнальд налетел на нахала конем, придавил его к стене и треснул мечом плашмя. У княгини от неожиданности и радости жар испепелил щеки. Хотела отчитать рыцаря за излишнюю суровость, но заметила стиснутые челюсти и бешеные глаза и поостереглась.

– Ваша светлость, – шепнула Изабо, – отошлите вы этого Шатильона подальше. Не доведет это до добра. Он опасен для мужчин, губителен для женщин, и вам вовсе не пара младший сын мелкопоместного сеньора. Он во Франции коня бы не прокормил.

Констанция отмахнулась, ей море было по колено:

– Я не конь, меня кормить. Сама решу, кто мне пара.

Королева Мелисенда словно услышала, призвала племянницу в свои покои в Башне Давида.

Камни Башни сбиты свинцовыми скрепами, окруженный рвом фундамент покоится на глыбах времен царства Давида, двести крутых ступеней ведут наверх. Когда полвека назад в этой мощной цитадели укрылись последние сарацинские и еврейские защитники Иерусалима, Танкреду пришлось договориться с ними и оставить их в живых, хотя всех прочих неверных объятые благочестивым рвением победители сожгли и вырезали. Под высокими сводами слышался орлиный клекот, в арках мелькали летучие мыши-вампиры. В темной восьмиугольной зале со сводчатым потолком гулко отдавались шаги, сквозняки тушили факелы. Как в детстве, вспотел лоб и похолодели руки.

Черная, чуть не монашеская хламида с длинными рукавами свисала с прямых плеч королевы, голову и шею плотно обхватывала повязка, на плоской груди единственным украшением лежала ладанка с бесценным волосом Спасителя. Мелисенда казалась святой с византийской иконы.

Подняла племянницу из поклона, внимательно оглядела, поцеловала в лоб, подвела к пальцам. Придворная дама протянула иглы с уже вдетыми шелковыми нитями. Мелисенда вышивала Иисусов нимб, а Констанции выпало расшивать землю под ногами Спасителя.

– Дитя мое! Последний раз я видела вас... когда? В Сен-Жан д'Акре, сдается. Более десяти лет тому назад, не так ли? Тогда еще были живы наши незабвенные Пуатье и Фульк. Вы были такой юной, а Бодуэн мой, тот и подавно был еще ребенком.

– Ваше величество, с тех пор так много всего стряслось, – Констанция замолчала, справляясь под пристальным взглядом тетки с подкатившим к горлу рыданием. Преодолела спазм и уже веселее добавила: – Зато Бодуэн вырос в замечательного рыцаря и выказывает все признаки великого короля.

– Как это он их выказывает? – Мелисенда впилась иглой в глаз римскому солдату. – Ну конечно, дай Бог, будем надеяться, что он станет таковым, когда Господь заберет меня к себе.

Мелисенда говорила уверенным тоном здорового человека, собирающегося жить вечно, а до тех пор не намеревающегося поступаться и пядью власти. Впрочем, покладистый сын не оспаривал трон. Бодуэна манила слава героя, а от ярма хлопотного правления отвлекали чужие жены и азартные игры, в то время как Мелисенда умела и содействия могущественных баронов добиться, и противников устранить. Все влиятельное духовенство Заморья тоже безоговорочно поддерживало набожную и щедрую монархиню. Так что королева не сомневалась, что и ясноглазая, учтивая тихоня-племянница подчинится ей беспрекословно:

– Дорогая Констанция, вам надобно выйти замуж.

Но напрасно Мелисенда полагала, что повелевать княгиней Антиохии окажется так же легко, как рыцарями и прелатами. Констанция покорно склонила голову, учтиво ответила:

– Мадам, ваше царствование доказывает, что женщина может единолично править даже Иерусалимским королевством. Я последую вашему примеру и посвящу себя княжеству и детям.

– Дитя мое, – Мелисенда, похоже, никогда не теряла терпения, – так же, как руке для вышивания нужна игла, так же женщине для правления необходим мужчина! У меня был Фульк, а теперь Бодуэн. А вам-то тем более – в вашей пограничной Антиохии!

– У наших границ теперь тихо, мадам. Нуреддин не трогает княжество, поскольку избегает трений с Византией, и мне очень помогает править его высокопреосвященство.

– Византия сама в любой момент может оказаться опасной, и Нуреддин оставил вас в покое, только чтобы без помех захватить Дамаск. Мы не можем допустить, чтобы он стал хозяином всей Сирии. Север Утремера должен защищать властителя, способный вести армию в бой и в случае нужды заступиться за нашего дамасского союзника.

– В таком случае, тетя, позвольте мне найти супруга по собственному выбору. Не могу же я выйти замуж ради Дамаска.

– Дитя мое, я повенчалась с Фульком без малейшей сердечной склонности, но это не помешало нам править королевством в полном единодушии и, по примеру царя Давида, воевать с сирийскими арамеями, аскалонскими филистимлянами и каирскими вавилонянами.

По знаку королевы придворная дама бережно подала Констанции тяжелый Псалтырь с выгравированным на слоновой кости переплета соколом – символом Фулька. Внутри роскошного молитвенника толпились изящные буквы, золотые, красочные миниатюры с фигурами Спасителя, святых, царя Давида, Адама и Евы. Пергаментные страницы украшали тщательные изображения животных, растений, грифонов, львов, умело выписанные крошечные арфы, кубки и изящные виньетки. Лицо Мелисенды смягчилось и стало заметно, что когда-то она была дивно хороша.

– Я слышала, дорогая тетя, согласие с Фульком вам все же не сразу далось.

Деяния латинян в Заморье нередко повторяли подвиги Писания, а рыжий, как царь Давид, Фульк и прекрасная, как Вирсавия, Мелисенда напоминали библейскую чету даже больше, чем им хотелось. Подобно царю Давиду, уничтожившему Урию, мужа Вирсавии, Фульк покусился на жизнь графа Яффы Хьюго де Пюизе, которого, по слухам, любила Мелисенда.

Предпочтение Мелисенды придало графу Яффы дерзости: его собственный пасынок, Жерар де Гранье, обвинил отчима в заговоре против Фулька. От графа Яффского потребовали доказать свою правоту в поединке с обвинителем, но в назначенный день красавчик Хьюго на бой не явился. Уж не потому ли он трусил, что дал ложную клятву о невинности королевы и не мог рассчитывать в сражении на Господню поддержку? Мелисенда, конечно, знала все доподлинно:

– Все эти рассказы о моей любви к Хьюго – наветы и злоязычие. Духовенство и все бароны были на моей стороне, а разве стал бы цвет Утремера брать сторону неверной жены?! Да и сам Фульк Анжуйский никогда не потерпел бы супружеской измены. Недаром его прадед, Фульк Нерро, обрядил изменившую ему жену в свадебное платье и сжег прелюбодейку на костре.

Фульк, несомненно, верил в невинность Мелисенды. Он любил жену и любил иерусалимскую корону, а обе эти любви были неразрывно связаны Бодуэном II, короновавшим дочь наравне с ее супругом. И бароны Утремера желали видеть на троне наследницу Бодуэна II. Фульк приговорил мятежника Пюизе к изгнанию. На ожидавшего попутного корабля графа напал никому не известный бретонский рыцарь и ранил его. Бретонца схватили, но молва обвинила короля. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Гос-

пода». Чтобы доказать Мелисенде, что он тут ни при чем, Фульк повелел при четвертовании оставить преступнику язык, но тот истек кровью, так и не назвав заказчика убийства.

– Тетя, а Пюизе, вы больше никогда не виделись с ним?

Резким движением королева обрезала нить:

– Пюизе угрожал трону, угрожал королевству, угрожал моему браку. Для тех, кто угрожает венценосцам, все всегда заканчивается плохо. Хьюго покинул Утремер и вскоре погиб в Сицилии.

Констанция взглянула на тетку и поняла, что та говорила чистую правду: не любила она Пюизе и перед Фульком грешна не была. А с какой стати Хьюго подумал иначе и даже решился на мятеж, четвертованный бретонец так и не поведал. Главное, что Фульк оказался во всем перед своей супругой виноват, и понапрасну оскорбленная Мелисенда обрела поддержку всех соратников своего отца. С тех пор король ни в чем не перечил жене и беспрекословно делил с ней престол, а королева свела счеты с недоброжелателями. Так и не сумев полюбить Фулька, Мелисенда полюбила власть.

Давно прошли времена, когда имя Иерусалимской Мессалины безнаказанно трепалось по всему королевству. Нынче, если люди судачили о королеве и о нынешней главной ее опоре – похожем на гигантского медведя коннетабле королевства Менассе д'Иерже – им приходилось настороженно оглядываться. Внушаемый Мелисендой страх защищал ее доброе имя исправнее преклонных годов.

– Давайте лучше поговорим о приятном, дитя мое. Вот, например, достойным князем Антиохийским мог бы быть Ив де Несль, граф Суассонский.

Констанция покачала головой: нет, граф Суассонский не годится. Не может князь Антиохийский пучить глупые лягушачьи глаза. Это, конечно, его, жениха неразумного, предсказала ясновидящая Марго.

– Если вам не нравится граф, прекрасной партией стал бы Гуго д'Ибелин, сеньор Рамлы. Гуго молод и красив, если для вас это так важно.

Все драчливое и горластое семейство Ибелинов было предано Мелисенде, а Гуго д'Ибелин вдобавок приходился пасынком Менассе д'Иержу. Но он приударял за Агнес де Куртене, хоть жеманница и не глядела на него с тех пор, как рядом оказался брат короля Амальрик. Вдобавок, как все Ибелины, Гуго вспыльчив и скор на расправу. Достойный рыцарь примется указывать Констанции, что делать и как себя вести, в награду за послушание будет наваливаться на нее ночами, потный, колючий и вонючий, делать ей детей, а днями увиваться за рыжей блудницей. И непременно развяжет войну с Нуреддином. Опять всей Антиохии придется жить в страхе. Из трех предсказанных провидицей он – жестокий. Констанция непреклонно сложила руки на коленях. Иерусалимские ассизы велели предоставлять наследникам выбор из трех претендентов, и тетка вздохнула:

– Тогда Ральф де Мерль. Ральф – самый галантный из баронов Триполи...

Учитывая, что сам граф Триполийский ведет себя как разъяренный кабан, в Триполи не очень сложно выделиться хорошими манерами.

– Мадам, если уж забыть обо мне и исходить исключительно из интересов Дамаска, то лучшим выбором стал бы Онфруа де Торон. Его Торон защищает дорогу из Тира в Дамаск, а его Белинас – ближайшая крепость к Дамаску.

Мелисенда оперлась щекой на руку, ласково, словно ребенку, растолковала:

– Милая моя, Онфруа де Торон – ложный друг моего сына. Он подначивает доверчивого и неопытного Бодуэна на безумные эскапады. Было бы губительно для королевства сделать этого опасного человека еще и князем Антиохии. Мой сын отважен и полон благих намерений, но меня тревожат его порывистость и самоуверенность, – Мелисенда вздохнула. – Бодуэн устремлен на юг, юности не хочется заниматься защитой чужих завоеваний, ему хочется новых, собственных. Он предпочитает напасть на Аскалон, а не оборонять сара-

цинский Дамаск. Но опасность надвигается не с юга, а с севера: египетские Фатимиды обессили, и у нас развязаны руки, чтобы противостоять истинной угрозе – Нуреддину. Ральф де Мерль, значит.

– Мадам, неужели вам совсем меня не жалко? Я же потеряла Пуатье, я же ваша племянница, ваша кровь и плоть!

– Мне всех жалко, – сказала Мелисенда невозмутимо. – Мне изгнанную в Латакию сестру Алису было жалко, мне жалко всех тех молодых, красивых, любящих и любимых рыцарей, которых мы посылаем в сражения, из которых они не вернутся. Мне жалко собственных сыновей, да и себя. Но Утремер не может держаться на этой жалости. Я от вас требую не больше, чем ото всех остальных, – заметила упрямо стиснутые губы Констанции, сведенные брови. – Простите меня, дитя мое, какая же я плохая хозяйка! Попробуйте это чудесное вино из моих подвалов, оно способно оживить мертвеца!

Нет, тетку не умолить. Легче в пьяном сельджуке пробудить сочувствие, чем во внимательной и ласковой Мелисенде. Ее когда-то не пожалели, и с тех пор она не жалеет никого: ни собственного сына, ни Фулька, ни Пюизе, ни четвертованного бретонца, и уж, конечно, ей не жалко непокорной княгини Антиохии. Для нее правление – это сложная и важная игра, а Констанция – только пешка на поле ее стратегии, и она двинет эту пешку туда, куда сочтет нужным. Но Констанция не пешка. Она хоть и не помазанница, но княгиня заслугами собственных предков, не милостью Иерусалима. И имеет свое разумение, что хорошо и что плохо для ее княжества. Впервые за много лет Антиохия жила спокойно, а Мелисенда задумала развязать с Нуреддином новую войну. И все ради Дамаска, из-за которого уже погибло столько франков. Этот Дамаск, он, как Молох, не перестает требовать жертв.

– Тетя, для заключения моего брака необходимо одобрение василевса. У императора тоже имеются достойные кандидатуры, – невинно заметила Констанция.

Королева нагнулась к племяннице, впилась в нее взглядом, словно палач клещами:

– Я вижу, антиохийская моя овечка, вы надеетесь без помех щипать травку между константинопольским орлом и иерусалимским львом, не так ли? – Откинувшись, приветливо улыбнулась: – Что же вы не пьете, милая племянница? Это бесподобная кипрская нама, из моих личных подвалов.

Не смея ослушаться Мелисенды, Констанция под ее беспощадным взглядом дрожащей рукой медленно поднесла кубок к губам, сделала крошечный глоточек и замерла в ожидании боли.

– Я рада, что вам понравилось! – Тетка добродушно похлопала ее по колену. – Подумать только, как много людей опасаются, что мое полезное и бодрящее вино способно им повредить!

Зазвонили к вечерне. В оконной арке в багряно-пепельном закате слепили взор купола Храма Воскресения Господня, Темплума Домини и Соломонова Храма, зеленела Масличная гора, белели, подобно высушенным на солнце костям, могильные надгробия Иосафатской долины, места грядущего Страшного Суда. Едва различимые в густеющих сумерках, спустились к Содомскому морю холмы Иудейской пустыни. На плоских крышах домов мигали светильники, доносились крики и смех. Порывы прохладного ветра трепали развешанное белье, несли тревожную горечь полыни, сладкую вонь тамплиеровых конюшен и аромат свежего хлеба.

Униженная Констанция отставила кубок. Тетка позабавилась ее страхом, но княгиня Антиохии не станет послушной иглой, расшивающей полотно Мелисенды. Если бы пришлось, она восстала бы против всего Утремера и Византии вместе взятых, но, похоже, в этом нет надобности. Между самой королевой и ее сыном обнаружился спасительный для Антиохии зазор, туда-то и бросится Констанция, как загнанная лисица. Княгиня тоже может играть

в королевские игры. Она охотно подаст неопытному кузену Бодуэну добрый родственный совет.

Перед возвращением на север отправились в Церковь Гробницы Богородицы в Иосафатской долине, где была захоронена и отважная и мудрая армянская супруга Бодуэна II, царица Морфия. Его величество любезно согласился сопровождать княгиню к месту упокоения их общей бабки. Отряд копейщиков по-прежнему возглавлял Шатильон, Бодуэн скакал между Констанцией и мадам де Бретолио, а Бартоломео замыкал процессию.

В затхлом, влажном склепе пахло ладаном и плесенью, на надгробии вознесшейся Девы Марии возлежал лишь букет пожухлых роз. Руки Изабо и Бодуэна столкнулись в кропильнице, король галантно подал даме зажженную свечу. Затем оба преклонили колена перед пресвитерием, мизинцы их нечаянно соприкоснулись. Юношу и даму можно было принять за жениха и невесту.

Справа от могильной плиты Непорочной Девы темнел вход в каменную крипту, закрытый железными воротами. Бодуэн объяснил, что эта часовня приготовлена для его матери. Сам он, как все короли Иерусалима, в свой срок упокоится у подножья Голгофы.

– Я буду молиться за долголетие королевы, кузен. Я надеюсь, она еще узрит ваши великие деяния, ибо убеждена, что вы превратите Утремер из прибрежной полоски в великую империю.

– Мать управляет королевством осторожно и мудро, я полностью полагаюсь на ее величество.

Констанция охотно закивала, но не удержалась, поделилась неожиданно пришедшей ей в голову мыслью:

– Необходимо только помнить, что места искупления нашего не осторожность завоевала, – вздохнула, потерянно прибавила: – Нам требуется больше, чем просто разумное правление, нам нужны подвиги. – Взглянула на кузена с надеждой: – Я слышала, вы мечтаете о взятии Аскалона. Это открыло бы путь на Египет. Ах, с покорением Египта, этого фатимидского Вавилона, Утремер стал бы непобедим. – Призналась: – Королева думает, что такое вам не по силам, но я верю в вас и буду молиться, чтобы вам удался ваш великий замысел.

– Менассе – верный и опытный полководец, а он поддерживает мать, считает, что перво-наперво нам необходимо положить предел посягательствам Нуреддина.

– Разумеется! Всегда есть нескончаемая грязная работа, от которой ни славы, ни владений, и дружественный Дамаск нам, конечно, важен. Но именно сейчас, когда Фатимиды так слабы, Аскалон остался без защиты. Есть деяния, которые может и должен свершить лишь король. Мы, женщины, сильны миром, поэтому королева строит церкви и рынки, но мужчины сильны победами. Когда-нибудь, ваше величество, вы завоеуете империю. Только любящий взор матери по-прежнему видит в вас маленького мальчика, а мир ожидает героя.

Бодуэн пригладил волосы, оправил рукава, одернул пояс, словно уже готовился к грядущим свершениям:

– Иногда Менассе действительно чрезмерно осторожен. У Буссерета он пытался уговорить меня покинуть вверившуюся мне армию.

– Сир, я надеюсь, что вам, а не Менассе д'Иержу суждено взять Аскалон и навсегда обезопасить наше побережье. Египет слаб и падет в руки того, кто первым осмелится пихнуть его пальцем. Только бы не Нуреддин...

Вышли на свежий воздух. Изабо, прекрасная как пышный пион, сверкала лукавыми глазами, словно сама стремилась на штурм:

– Ах, я вижу вас на троне фараонов, ваше величество!

Констанция в волнении сжала руки:

– Мой дорогой кузен, вам был знак. На пути от Буссерета вас и вашу армию спас белый рыцарь-ангел. Божий посланник мог сойти на землю только ради Господнего избранника. Благодать лежит на вас одном.

Констанция с Изабо наперебой твердили помазаннику, что он – единственный король Утремера, которому было даровано чудо. Ни Танкреду, ни Готфриду, никому из его предшественников на троне Господь не явил подобной милости. Как появление утренней звезды обещает наступление дня, так этот посланный Господом ангел обещал Бодуэну Божью милость и любовь. Его величество пользуется покровительством небес, он – первый король Иерусалима, родившийся в Земле Воплощения, настоящий сын Заморья, плоть от плоти, кровь от крови. Он избран совершить великие завоевания, не только опекать басурманский Дамаск. Бодуэн не прерывал их, а слушал, уставившись в землю, скрестив недвижно руки на гарде меча. Наконец, поднял голову:

– Еще мой отец надеялся взять Аскалон, но Нуреддин следит за нами, как собака за брошенной палкой.

– Сир, именно сейчас подходящий момент: опасаясь Византии, Нуреддин не осмеливается посягать на Антиохию, и тем самым защищена вся северная граница Латинского Востока. Мудрый государь воспользовался бы этим, чтобы добиться невиданного на юге.

Констанции удалось взволновать и воодушевить юного монарха. Она не кривила душой: Бодуэн непременно совершит невиданное и тем временем будет слишком занят, чтобы вмешиваться в ее судьбу. Конечно, ему придется начать с того, чтобы избавиться от опеки всем заправляющей матушки. Вряд ли Мелисенда добровольно уступит ему трон, зато досуга выбирать женихов племяннице у нее поубавится. Тут внутри неприятно шевельнулось, подняло змеиную голову отвратительное воспоминание: ведь так же Констанция уговорила Людовика VII напасть на Дамаск, но вновь прозвучал теткин голос: «Утремер не может держаться на жалости». Если юный монарх заберет власть в свои руки и начнет завоевание юга, это будет лучше не только для княгини Антиохии, но и для будущего всего Заморья. Да и самой тетке куда более подобает вышивать церковные покровы, нежели принуждать к браку суверенную княгиню Антиохии.

На обратном пути Изабо улучила момент, подскакала к Констанции, от радости вся светилась, и даже кобыла танцевала под ней:

– Ваша светлость, король попросил меня остаться с ним в Иерусалиме.

«Кобылице в колеснице фараона уподобил я тебя, подруга моя! Встань же, возлюбленная моя, прекрасная моя, иди за мной!» – сказал царь иерусалимский мадам де Бретолио. Видно, и впрямь почувствовал себя самодержцем. Что ж, могилы часто напоминают, что жизнь скоротечна и не следует упускать ее радости. Мадам де Камбер непременно заявила бы, что прелюбодеяние – смертный грех, и рано или поздно король так же настойчиво попросит Изабо покинуть двор. Но мадам де Бретолио не желала внимать предупреждениям. Ведь сказала Суламифь: «Привел меня царь в чертоги свои, – возликуем и возрадуемся с тобою!», вот и Изабо повторила за ней:

– Ах, мадам, я смогу остаться при дворе и пошить себе кучу новых нарядов! – Обернулась, бросила блестящий взгляд на статного Бодуэна. – Пусть Эвро и Господь простят меня, будь что будет, не могу я его бросить, не могу!

У Констанции перехватило горло, она сжала руку Изабо:

– Душа моя, чтобы ни случилось, ты всегда найдешь у меня защиту и поддержку.

Оглянулась вокруг и увидела, что истинно сказано: «Зима прошла, дождь миновал, удалился; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране; на смоковнице началось созревание плодов, и виноградные лозы в цвету издают благоухание». В животе затрепетали бабочки, она прищипорила Капризу, нагнала шевалье де Шати-

льона, бросила небрежно, будто что-то неважное, только что пришедшее в голову, а вовсе не сто раз передуманное, выношенное бессонными ночами:

– Ваша милость, вы прекрасно заботились обо мне, пока я была здесь. Если вздумаете искать лучшее место службы, приезжайте в Антиохию. Нам нужны отважные рыцари, и я постараюсь, чтобы вам у меня понравилось.

Улыбалась благосклонно, ожидая его благодарности, и сама уже ликовала, что решилась, что Рейнальд и дальше будет служить ей, останется рядом. «Друг мой – мне, а я – ему, пасущему средь лилий». Но он молчал, и Констанция подняла на него влюбленные, зовущие, молящие глаза. Шевалье на антиохийскую лилию не глядел, он уставился вперед, губу закусил добела, а потом бешено дернул поводья и процедил сурово:

– Спасибо, мадам, если служить, так лучше королю.

Она вспыхнула, растерялась, даже Каприза сбилась с ноги. Что ж он так груб с ней? Чем она обидела его? Шатильон злобно взмахнул плетью и пустился к городским воротам сломя голову, бросив кавалькаду в облаке пыли.

Констанция отстала и оказалась рядом с покряхтывающим и сопящим Бартоломео – оба отвергнутые, ненужные, немилые: княгиня Антиохии и неотесанный, самодовольный, болтливый грубиян. Молча ехали и в печали созерцали, как гарцевали перед ними бок о бок король и Изабо, и даже хвосты их коней мотались в сердечном согласии.

Пора возвращаться домой, это вид чужого счастья помутил ее разум.

* * *

Сразу после Пасхальных торжеств княгиня Антиохии двинулась в обратный путь. Угрюмый Бартоломео по-прежнему охранял отряд в самом опасном месте – в арьергарде, но больше не гоготал над собственными шутками и не давал обетов и клятв. Вместо мадам де Бретолио с ними возвращались двое рыцарей, которых выменяли на сарацинских узников. Третий антиохийский пленник так и не дождался освобождения, сгинул в нильских песках.

Море еще штормило, дули резкие ветра, ветер пах сырой землей, на склонах холмов лиловели ирисы и плодовые деревья трепетали цветущими невестами. Ах, ничего не осталось от всех смутных, но радужных надежд, с которыми Констанция пустилась в Иерусалим! Тот единственный, кто нравился, отказался служить ей, а что другое могла княгиня предложить наемнику? Каждый шаг увеличивал расстояние между ней и несговорчивым шевалье с дурным норовом, и душе становилось все больнее, словно все туже натягивалась нить, привязывавшая ее к Шатильону.

Вернувшись, Констанция решительно завела при дворе новые порядки. Пора Антиохии превратиться в изысканный двор, где никто не будет дремать по углам, ловить мух, кланчить фьефы и напиваться до положения риз. Отныне галантные кавалеры примутся декламировать шансон де жест и вести глубокомысленные диспуты, рыцари без страха и упрека начнут стремиться к совершенству путем преданного служения прекрасным дамам. А прекрасные дамы перестанут объедаться до колик, сплетничать, пересказывать и толковать глупые сны, молиться, ругаться и беременеть, а научатся тонко шутить, распевать кансоны, танцевать и устраивать Суды Любви. Про Суды Любви Констанция лишь краем уха слыхала, но не сомневалась, что справится.

Мамушка ворчала, что до поездки пупуш была вялая и грустная, как зимняя лягушка, а вернулась безмозглой и легкомысленной, как бабочка-однодневка. Ничего не смыслила старая армянка ни в душе ее пупуш, ни в новых куртуазных обычаях.

В соответствии с провансальской модой завели шутов, мимов, жонглеров и звездочета, со всего Утреме́ра созвали голосистых бездельников, назначили их труверами. Теперь каж-

дый вечер при княжеском дворе, словно в Шампани или Провансе, собирались дамы и кавалеры для изысканных бесед, изощренных шуток, захватывающих игр и изящных танцев. Поэты и певцы исполняли сервенты, рондо и виреле, прославляли дам и девиц, а те вручали призы победителям. Избранное общество состояло из двух дюжин местных чаровниц различного возраста и меры прелести, после споров и обид поделивших меж собой роли Доброты, Скромности, Красоты, Надежды, Очарования и прочих подходящих аллегорий. Благочестие без спора отдали даме Доротее де Камбер. Констанция отказалась стать Постоянством, хватит того, что эта постылая роль выпала ей в жизни. Объявила себя Истинной Любовью.

Отвагой, Преданностью, Честью, Вассалом Любви, Разумом, Дружбой и Щедростью выступали безусые пажи, оруженосцы и дюжина безземельных дамуазо в поисках невест с приданным. Мамушка, правда, громогласно прозвала их Бахвалами, Словоплетами и Балбесами.

Вивьен душещипательно играл на виоле, за это поганца нарекли Вольным Духом и простили ему непрестанное вранье и трусость. Но без взбалмошной Изабо искрометного остроумия оказалось меньше, чем злоязычия, мелочных обид и солдатской грубости. Сиволапые кавалеры нещадно путались в фигурах хоровода кароля, оттаптывали дамам ноги, храпели под пасторелы Маркабрюна, а любезные их ухаживания ничем не отличались от наглых домоганий прежних времен. Первый же поэтический диспут – могут ли сердца разлученных любовников пересекать расстояния? – вместо разящих доводов, неоспоримых контрдоводов и убедительного доказательства истины породил только хихиканье, морганье и шарканье сапожищами. Последнее веселье упорно тушила тоскливая физиономия безутешного Бартоломео. Неотесанного простака, не сведущего в возвышенном смысле придворной игры, на куртуазные вечера звать перестали, но оставшиеся Магистры Страстей и Защитники Добродетелей тоже оживлялись лишь при исполнении единственного цветка антиохийской поэзии, ее жесткого и колючего кактуса – героической «Песни об Антиохии».

По преданию, этот шансон де жест о Первом Крестовом Походе и о взятии неприступного города на Оронтесе сложил участник осады города Ричард Пилигрим. Каждое празднество жонглеры и певцы с неустанным жаром исполняли дивное сказание, и так песнь сия возвышала души, что гостивший в Антиохии Гриндор де Дуэ, сам талантливый сочинитель, согласился по просьбе Констанции собрать и записать все строфы поэмы. Возвращаясь на родину, Гриндор пообещал исполнять героический эпос при французском дворе. Пусть, пусть соперница услышит великие строки, родившиеся в Антиохии и прославляющие предков Констанции, в сравнении с которыми ее с Людовиком поход выглядел еще более убогим и бесславным, хотя, казалось бы, он и так выделялся среди всех человеческих деяний в качестве беспримерного позорища.

Самой же Констанции из всех шансон де жест больше всех полюбилась поэма о несравненном Рено де Монтобане, мятежном вассале Шарлеманя. Мстительный и коварный император осаждал его замок, и Рено выходил на битву с ним и с каждым из его паладинов, но всегда оставался верным своей чести. В конце концов Шарлеманю пришлось примириться с Рено при условии, что тот отправится воевать с сарацинами, и так отважный и прекрасный герой прибыл в Иерусалим. Его волшебного говорящего коня звали Баярдом, как жеребца Шатильона, но, конечно, вовсе не из-за этого случайного совпадения так полюбился Констанции этот неукротимый и неистовый Монтобан.

Не всем галантные нововведения пришлись по душе в равной степени. Духовник распекал Констанцию, Грануш ворчала, что лапушка спятила, подражая французской чертовке, дама Доротея танцевала с задором базарного медведя, которого тянут за кольцо в носу, дама Филомена треснула клюкой несчастного Купидона-Николаса, которому полагалось в затейливой игре с завязанными глазами унюхать даму, надушенную драгоценным египетским

бальзамом. Но вернуть Констанцию к расшиванию престольных пелен и к протиранию колен на церковном полу было так же невозможно, как засунуть в почку распустившийся лист. Рыцарям было строго наказано улучшить свои манеры, от мамушки и дам Констанция отмахивалась, а Господа Бога и духовных отцов задабривала богатыми пожертвованиями. Немного терпения – и Антиохия сравняется с Провансом и Аквитанией. Констанция втайне мечтала даже о турнирах, на которые собирались бы рыцари всего Утремера и бились бы во славу прекрасных дам. Но, увы, желающих сражаться понарошку в косном и отсталом Заморье пока не находилось.

Почти каждый день являлись в замок халдейские торговцы и персидские купцы. Разворачивали бесценные ткани, вяленые из верблюжьей шерсти или прозрачные, как дым, окрашенные личинками кошенили или моллюсками пурпура. Привозили парчовые плащи, подбитые северными соболями, отороченные горностаями, предлагали прорезные рукава, длинные и широкие, как знамена, пристегивающиеся к лифу крупными жемчужинами, раскладывали морскую пену нежнейших кружевных сорочек, достойных Афродиты. Шкатулки княгини не закрывались от лент, пуговиц слоновой кости, шагреновых поясов, филигранных аграфов, серебряных армянских украшений и золотых застежек-фибул с рубинами. Окованные сундуки ломились от сафьяновых перчаток, шевровых сапожек и бархатных башмачков, расшитых самоцветами, украшенных вышивкой и прорезями, в которых ножки казались изящнее ласточек. Даже верховые лошади позвякивали вызолоченными уздечками, а спины их покрывали чепраки из драгоценных персидских ковров.

Вдовью головную повязку сменил новомодный широкий обруч, прикрывавший лишь макушку и не мешавший завитым горячими щипцами кудрям спускаться на плечи. Жермена осветляла их лимонным соком, мазала осадком старого вина, смешанного с сосновой смолой и розовым маслом, промывала мукой из люпина. Княгиня ополаскивала ланиты чечевичным отваром, заметные ей одной морщинки выводила раствором гранатового сока, дынной кожуры и камеди рожкового дерева, а белизну нежной кожи защищала от ветра и солнца цветочным маслом, смешанным с яичной мукой. И серебряное зеркальце исправно подтверждало, что Констанция по-прежнему выглядела юной девушкой, а вовсе не вдовой с тремя детьми, отвергнутой безземельным служакой.

Летом египетский флот разогнал купцов: наглые фатимиды совершили нападения почти на каждый франкский порт – от Яффы и Акко до Тира и Бейрута. Латиняне лишний раз убедились, что назрела пора захватить разбойничье гнездо Аскалона. Пираты, однако, вскоре были изгнаны, и сокровища Африки, Индии и Азии вновь потекли через Левант.

Наряды и развлечения требовали динаров, драхм и безантов, но Констанция не намеревалась вникать в докучные финансовые заботы, у нее и без них неделями не находилось времени срочный приказ подписать. Защитой княжества ведал коннетабль Готье Аршамбо, государственные хлопоты взвалил на себя патриарх Эмери, а за хозяйственные нужды отвечали сенешаль, мажордом, бальи и кастеляны. В конце концов, личные траты княжеского двора были каплей в водопаде антиохийских расходов. Крепостям, дорогам и мостам требовались починки, воинам – вооружение, провиант и боевые кони, а львиную долю доходов земель захватил Нуреддин. Неблагодарные горожане, купцы и вилланы, процветающие под защитой княжеской армии, роптали из-за новых поборов и оброков и встречали свою властительницу уже не прежними сердечными благословениями, а угрюмым молчанием и мятежными выкриками. Поэтому Констанция все чаще посылала сына возглавлять процессии и приветствовать представителей гильд. Красивый мальчик с белокурыми локонами неизменно вызывал восторг и умиление переменчивой черни, как когда-то сама Констанция.

Детьми занимались наставники и няньки. Констанцию мучила совесть, и она несколько раз пыталась заставить себя читать с ними молитвенник, но никому это время-

провожение удовольствия не доставило и вскоре было заброшено. Что поделаешь? Государыни – не простые матери семейств, у них своя ноша. Играть с детьми любая нянька может. Восемилетний Бо похудел, вытянулся, интересовался только конями и оружием, бредил боями и победами. Он любил мать, но скучал с ней и рвался от нее во двор, как когда-то его отец. Пухленькая, краснощекая, вечно замурзанная и неизменно веселая Филиппа носилась по замку забавным щенком, шалила, таскала за хвост собак, пряталась от гувернантки, рвала и пачкала свои одежды, хватала со стола сладости и тут же липкими ручками обнимала Констанцию, наряженную Зарей-Авророй. А златокудрая и синеглазая Мария превратилась в избалованную и упрямую капризницу, но уже в семь лет блистала такой несравненной норманнской красой, что льстецы прочили ей блестящий брак, а Грануш то и дело бормотала обереги от чужих похвал. Впрочем, одряхлевшая нянька теперь во всем узревала зловещие знаки: в полете птиц, в форме облаков, в пролитом молоке, в тревожных старческих снах.

Однако ни обновы, ни дети не спасали от томления. Как-то в галерее княгиня наткнулась на служанку с ратником. Несколько дней перед глазами стояли их сомкнутые тела и преследовало воспоминание девичьих стонов. Казалось, Констанция ощущала ласки шершавых ладоней неведомого солдата, щетину его щек, нежную гладь твердой шеи, щекотный ежик темных волос. Не таким уж великим грехом стало бы на третьем году вдовства задержать руки на плечах пригожего егеря, ссаживающего ее с седла, но Констанцию останавливал не один страх огласки и беременности. Не могла княгиня после Пуатье лечь под конюха, гордость претила превратить храм своего тела в постоянный двор для первого встречного. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Она вождела к отсутствующему, а доступных не хотелось. Жажда вина водой не утолишь.

Из Франции пришла очередная невероятная весть: король Людовик расторг брак с Алиенор.

– Бросил-таки Людовик потаскушку, – подбоченилась довольная Грануш.

Но Констанция не сомневалась, что это сама Алиенор избавилась от рохли-короля и непременно обернет случившееся себе на пользу. И все же наконец-то гордячка из помазанницы стала герцогиней, ровней Констанции. Все это вроде ее давно не касалось, уже не только отцвела ее любовь к Пуатье, но даже горе по нему задвинулось в памяти в такое место, куда Констанция никогда не заглядывала, а вот обида и ревность по-прежнему сворачивали душу в змеиный клубок. Французская волчица не только Пуатье обворожила, она и соперницу навеки околдовала.

Наступила весна. На охоте Констанция вдыхала запах земли, распахивала шерстяной плащ, подставляла истомившееся лицо солнцу и порывам теплого южного ветра. В небесах парил коршун, выслеживал грызунов, ютящихся в корнях олив и фиг. В долине стригли тонкорунных овец. Опрокинутые на землю бараны блеяли, забавно мотали в воздухе тонкими ногами, жирные пласты рун отпадали, обнажая бело-розовые, голые, новорожденные, беззащитные шкурки. Констанция заплакала, не зная почему. Потому что голос горлицы не ее звал, и виноградные лозы не ей благоухали.

А как-то утром вышла в залу, а там, опершись на оконную нишу, стоял Шатильон. Перламутровые глаза шевалье невозмутимо взирали на нее из-под черных крылатых бровей, и был он много прекраснее, чем ей помнилось.

К вечернему застолью княгиня явилась с обручем на лбу, с волосами, убранными под золотую сеточку, с выщипанными и подведенными сурьмой бровями, благоухающая сандалом и так туго утянутая в сюрко цвета голубиного пера, что ни есть, ни пить не решалась, благо, и не хотелось:

– Мессир, странные и противоречивые известия доходят до нас о происходящем в Иерусалиме.

Рено расправлялся с жирной гусиной ногой так, будто из Иерусалима его пригнал голод:

– Ваша светлость, нашего покладистого короля Бодуэна словно подменили. На второй день Пасхальной недели внезапно ворвался в Церковь Воскресения и потребовал, чтобы патриарх короновал его. Фульхерий Ангулемский отказался наотрез, и тогда его величество сам увенчал себя лавровым венком и прошелся по городу римским героем.

Таковы мужчины – даже почтительный, преданный Бодуэн в конце концов спихнул мать-соправительницу с общего трона.

– А что же королева?

– Королева не собирается отказываться от престола. Ее поддержало духовенство, всястая Ибелинов и коннетабль Менассе д'Иерж. Амальрик тоже принял сторону матери против брата. Созвали Высшую Курию, и бароны поделили королевство, как пастуший пирог.

– Вот как? И как же они поделили Землю Христову?

– Королеве поначалу отошла Иудея и Самария с Иерусалимом, а королю – Галилея, Акра, Тир и остальной север страны. Только король с дележом не согласился. Мелисенда со своими сторонниками заперлась в Башне Давида, его величество Башню осадил, но цитадель невозможно взять силой.

Эмери горестно воскликнул:

– Неужто вновь великое Царство Давида поделится на Иудею и Израиль?! – Смерил вестника неприязненным взором: – А вы, мессир, что же, сочли за лучшее сбежать? Еще Плиний Младший заметил...

Рука с кинжалом замерла над гусиной тушкой, под смуглыми скулами затанцевали желваки, и святой отец почел за лучшее не рассыпать перлы древней мудрости перед недостойным и несдержанным головорезом. Медленно, не поднимая глаз, Рено процедил:

– Я между львицей и львом встречать не намерен. Мать и сын в конце концов договорятся, а счета сведут с теми, кто под руку попадется. Менассе д'Иерж бежал в крепость Мирабель, и ему уже под страхом смертной казни велено навеки покинуть Утример.

– Спаси нас Господь, – сокрушенно забормотал Эмери. – Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет.

А шевалье словами Евангелия вещать не умел, поэтому сказал, как умел:

– Пусть для них черт каштаны из огня таскает, – Вскинул блестящие глаза на Констанцию, спросил напрямик: – Мадам, я прибыл узнать, угодно ли вам по-прежнему взять меня в свой гарнизон?

Констанция вспыхнула, поспешно кивнула, не в силах ответить. Рейнальд подтянул к себе ножку гуся, и под его ровными зубами захрустели птичьи косточки.

Борьба за престол всегда делает королей слабее, а знать – сильнее. Наконец-то княгиня сможет отказать всем навязанным ей женихам.

Теперь, когда гордец уступил, явился служить ей, он стал незаменим. Без Рейнальда де Шатильона в Антиохии больше солнце не всходило. Он сопровождал княгиню повсюду, с ним она советовалась, обсуждала планы новых построек, его выпрашивала о французских обычаях. Куртуазный кружок, правда, зачах, как пальма на севере, уж очень неотесанными оказались его паладины: шевалье Жан де Лерак, именованный Оруженосцем Любви, похитил в городе молодую богатую вдову, кавалер Ришар де Таренс, назначенный Магистром Чести, бросил невесту под венцом, а Николас Сантин – Купидон – бессердечно проиграл в кости преподнесенный ему Сибиллой де Фонтень пояс – дар многозначительный и заветный. Смертный приговор утонченным времяпровождениям вынес Шатильон, оглушительно зевнув и покинув залу посреди трогательного повествования о трагической любви Тристана и Изольды.

Да Бог с ними, с этими изысканными нравами! Это в Пуату, где процветают потребные для того музы, искусство изящного досуга занимает умы, а в Антиохии куртуазность всегда выглядела дворовым псом, которого пытаются заставить танцевать на задних лапах.

Да и в Иерусалиме с куртуазностью дело обстояло из рук вон плохо, судя по тому, что сын восстал на мать-помазанницу. Правда, чтобы выкурить Мелисенду из Башни Давида, Бодуэну пришлось договориться с ней полюбовно: о дележе королевства больше речи не шло, но все же он выделил королеве в домен Наблус с прилегающими землями.

Однако все эти новомодные истории любви – о королеве Изольде и ее верном Тристане, о Абеляре и Элоизе, о влечении Ланселота к королеве Гиневре – успели смутить Констанцию. Они возвышали сердечную страсть над всеми прочими добродетелями и утверждали, что это чувство поднимает простого рыцаря до принцессы, если в честь нее он совершил множество великих и необыкновенных подвигов. Шатильон, несомненно, был создан для великих деяний: в бою он был отважен и собран, после боя – беспощаден, умел владеть собой и принимать правильные решения в самых отчаянных ситуациях. Скоро он завоевал преданность подчиненных ему воинов и уважение командиров, и даже те, кто не жаловали безудержного и надменного новичка, отдавали ему должное и старались не задевать бретера.

Пуатье при жизни был самым сильным, отважным и прекрасным, его совершенства и достоинства сверкали, подобно Солнцу. Окружающие преклонялись перед ним, уважали и обожали его. Шатильон же был ни с кем не сравним, он был иным, отличным от всех прочих. Он тоже выделялся, но не слепил своими достоинствами, а, подобно Луне, мерцал приглушенным, таинственным и пугающим светом, был молчалив, скрытен и недоступен. Даже Констанция не могла догадаться, что он чувствовал, чего хотел, о чем думал. Только знала, что вовсе не Рено добивался ее любви, а наоборот.

Он же бывал то приветливым, то угрюмым, и в зависимости от его настроений на Констанцию то проливалась благодать, то милость Господня покидала ее. По большей части ей было невыносимо. Презирая себя, она все чаще пыталась задобрить Рено. После того как обнаглевшие тюрки напали в соседнем графстве Триполийском на группу паломников, перебили охрану и увели несчастных пилигримов в рабство, княгиня поставила шевалье Шатильона во главе всей антиохийской конницы и платила ему не как прочим рыцарям – по сто пятьдесят старых, стертых и низкопробных безантов в год, а новенькими, чистой пробы гистаменонами и вдвое больше обычного. Не ждала признательности, но, похоже, младший сын графа Жьена из городка Шатильон и не собирался распинаться в благодарностях.

Скоро ее предпочтение ни для кого не осталось секретом. Грануш сразу невзлюбила Рейнальда:

– Голубка моя, ягодка, я его боюсь. Он мимо в мрачном облаке проходит, я предчувствую несчастье!

– Ай, балик джан, а про Пуатье ты не предчувствовала, что он сначала разобьет мне сердце, а потом уйдет на верную смерть, оставив меня с тремя сиротами?!

Потеряла старая татик чутье к людям, стала беспокойной и подозрительной. Целыми днями таскалась за Констанцией, бормотала какие-то приговоры и наговоры, должные развеять тоску анушикс и исцелить сердце ее пташечки, да только колдовство ее выдохлось, стало совсем бесполезным.

И патриарху Эмери непочтительный француз с самого начала не пришелся по нраву. Отец Мартин тоже увещевал, многозначительно вздыхал и сыпал предостерегающими притчами. А придворные дамы наперебой пересказывали истории, из которых явствовало, что принцессы всегда должны выходить замуж за знатных вельмож и предоставлять бедным рыцарям вздыхать по ним, а не наоборот. Посторонние насмехались, завидовали, злорад-

ствовали. Пожалуй, единственной, кому шевалье нравился, была Констанция, и единственным, кто упорно не замечал оказываемой ему чести, оставался сам Рейнальд.

– Мадам, – дамзель Сибилла расчесывала волосы княгини и смаковала очередную сплетню, – герцогиня Аквитанская вступила в новый брак.

– Когда? С кем? – Констанция дернулась так, словно ей прядь вырвали. – Она же только что с Людовиком рассталась!

– В День Святого Духа, ваша светлость. За родного внука покойного короля Фулька от его первого брака, за Генриха Плантагенета, герцога Нормандского, графа Анжу, Турени и Мэна. Говорят, этот Генрих еще совсем юноша, моложе герцогини лет на восемь и собой весьма пригож. И претендует на английский престол, пока, правда, не слишком успешно...

В руках Констанции хрустнул черепаховый гребень, и Сибилла, обожавшая во всем усматривать страшные предзнаменования, испуганно заахала. Так вот ради кого Алиенор стряхнула французскую корону! Нашла-таки резвого скакуна себе по вкусу! На этой земле Констанции и Алиенор было выделено одно счастье на двоих – и полную его меру смело забрала себе та из них, которая никогда не боялась поступать по собственному хотению.

В тот же день на прогулке Констанция пропустила кавалькаду вперед, дождалась Шатильона, пряча глаза, пылая до корней волос, предложила:

– Сир, пожалуйста сегодня вечером на чашу вина и игру в шахматы...

Усмехнулся недобро, покачал головой:

– Ваша светлость, боюсь проиграть больше, чем имею.

Не дожидаясь ответа, пустил коня прямо по нежным всходам овса. Констанция вслед только пискнула:

– Объедем поле, монсеньор, жаль понапрасну топтать посевы.

Он бросил через плечо:

– Мадам, чего беречь чужое поле.

И будто назло, пустил вскачь мышастого жеребца. Она помчалась за ним, словно недовоговоря что-то важное. Свита поскакала следом. Когда шевалье перевел коня на шаг, Констанция догнала его и, не зная, что сказать, от смущения принялась оправдываться:

– Феллахи кормят нас, зачем нарушать обычаи и спокойствие?

Невольно пыталась направлять Капризу в след Баярда, чтобы потрава была меньше. Ей было стыдно своего крохоборства, и она старалась не оглядываться на затоптанное поле. Немного соберет с него невезучий пахарь, после того, как по нему проскакало двадцать всадников. В Сирии уничтожать жатву и вырубать оливковые рощи – это тактика врагов, а она слишком привыкла подсчитывать осенние припасы, чтобы быть небрежной с весенними посевами. И пусть Рено винит в этом порченную терпимостью кровь пуленов, но ей было неприятно вредить покорным землепашцам без причины.

Рено склонился к Баярду, у того с удил капала пена, стащил перчатку, мягко потрепал гриву, конь заржал, вздрагивая мускулами под бархатной шкурой. Рено любил своего жеребца, оба были схожи и статью, и норовом. Констанция заворуженно смотрела, как загорелая рука Рейнальда ласкала скакуна, у нее собственная шея заныла, так давно не касалась ее мужская ладонь. Обветренные губы Шатильона шелушились, но там, где они смыкались в красивую изогнутую линию, кожа была такая нежная, беззащитная и розовая, что сердце заходило. Рено разомкнул губы:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.